

Игорь Корниенко

Бездомные комнаты

Роман-круг

ВХОД. ОН ЖЕ ВЫХОД

Комната 30

Штрихи к автопортрету у открытой двери

Я выбрался.

Первое, что произнес художник после двух дней немого небытия.

— Я выбрался.

Рассказала сестра-сиделка, старенькая, почти прозрачная, она поправила иглу в вене на его правой руке, погладила, как родного, по голове:

— Выбрался, конечно. Выкарабкался. Почти трое суток без сознания был. Твои друзья тут в тайне все держат. Кудрявый, вон, — ночует, не уходит, серьезный такой. Я скажу, что ты очнулся, после осмотра, сейчас врач придет.

Осмотр занял почти час, врач, хоть и был знакомым хорошей знакомой, подозрительно переспрашивал, недовольно ворчал, цыкал и мотал головой, исписал пять листов с обеих сторон, художник считал.

Перед появлением друга незаметно (от самого себя?) прикоснулся к ушам.

Мешали шапки бинтов, и непонятно, болели уши или вся голова целиком?..

«Вроде на месте», — утешила мысль, успокоила на время. Впереди долгие расспросы, вопросы: что? как? зачем?

Ответы он не знал.

Не помнил?..

Память осталась там, в лабиринте, блуждать одна-одинешенька в поисках ответов — такой ответ никого не устроит. Но это было так. Почти так. Он выбрался, больной, с букетом болячек (еще предстояла беседа с доктором от психиатрии), с ощущением в районе души (там теперь пустота?), душа тоже осталась там, в лабиринте, в комнате 30 среди картин и...

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат премии В.П.Астафьева (2006), премии «Золотое перо Руси» (2005), специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010», лауреат литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016). Живет в Ангарске. Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Алаведерчи» (2018, № 11).

— Минотавр!

Илья привстал на локтях, попытался заглянуть в высокое окошко. Не вышло.

Чудовище лабиринта, оно сожрало его душу и память, пыталось проглотить тело — не вышло, слишком костлявый. Подавившись острыми ребрами, оно выплюнуло художника.

Выбрался, словно Иона из чрева кита, художник из кишок комнаты, где на обоях тысячи глаз, и сердце стучит под полом, и дышит потолок, и призраки оживают. И картины. Его цикл комнат. Его кошмары, ставшие реальностью...

Сны общаги?..

Он не успел придумать название, и последняя работа осталась неназванной, а значит бессмертной. То, что не названо, не имеет имени — вечно. Оно не существует, а значит, не может умереть...

Как уничтожить то, что из других миров?.. Из мира, где нет лиц? Где призраки?..

Это мир комнат...

Автопортрет — последняя неназванная картина, это автопортрет у открытой двери. Незаконченный, он ждет его там...

Савва, кудрявый друг, ввалился с матюгами в палату.

— Что все это было? — единственное цензурное, что произнес он, пока снимал куртку, подвигал стул поближе. — Ты там в этой общаге совсем с катушек слетел, мать...

— И тебе здарсьте, — криво улыбнулся. Нижняя губа опухла и кровоточила, — видимо, прикусил, потеряв сознание, несколько дней назад (сколько?) в своей мастерской, в месте, которого нет.

— Я, как не смог дозвониться — аппарат абонента выключен, — пулей взял такси...

— Ты видел картины?! — неподдельный страх натянуто-хриплыми нотами, и ужас увеличивает черноту зрачков.

— Не до картин было!.. Твою душу!.. Ты весь в кровище на полу распластался, как Христос распятый. Не понять, краски это твои или ты что с собой сделал... Меня вонизма одна добила. В охапку тебя сгреб, ты не дышишь, хорошо знаю, что делать...

Илья кашлянул, не сдерживая смехок:

— Скажи еще, что делал искусственное дыхание мне?..

Друг щелкнул пальцами:

— Как в воду....

— Рот в рот?! — Художник поперхнулся смехом.

— Мне честно, бля, не до смеха было, рот в рот, конечно.

— Теперь ты обязан на мне жениться, твою мать, Савва! — сквозь смех и кашель: — И не отвертисься.

Савва не выдержал, стены серьезности рухнули под заразительным хохотом друга:

— Тебе придется забыть тогда про художество, борщ научиться готовить и плов с фруктами — сможешь?!

Илья честно сказал «нет» и, как его подменили, шепотом, без намека на веселость мгновение назад:

— Комнату ты запер?!

Савва, все еще улыбаясь, во все лицо:

— Так замок же сам захлопывается... А если даже не запер, там такой бардак!..

Илья откинулся на подушку.

— Открытые двери — что открытое море, космос... Бесконечность...

— Квартиранты с картин, думаешь, разбегутся?..

Художник, соглашаясь, моргнул.

— Там что-то поселилось, хорошо, если это — плод моего воображения, мой бред. Но нечто выбралось из всей этой браги...

— Браги? Нечто? У тебя срыв нервный был, гены прорвались наконец, заговорили, высвободились. Год сидел взаперти со своими картинами, вот и результат... Ты пьяный был, перегар с ацетоном — то еще амбре... Тут все что хочешь померещится и оживет...

В возникшей тишине Илья попытался вслушаться, но тишина рождала тишину. Никаких посторонних, больничных звуков, кроме урчащего желудка посетителя и дыхания.

Изоляция ему на руку. Подальше от хаоса. Хаос мог выбраться из телефонных гудков, из комочков пыли и теней...

— Какой сейчас год? Шестнадцатый?.. — тихий голос художника. Савва не успел ответить, как тот воскликнул: — Нет! Нет! Не говори! Пусть время идет своим чередом. Я посмотрелся на все его штучки. Помнишь повешенного соседа?.. Могу предположить, что рассеченная губа — его кулака дело...

Не найдя слов, Савва мотнул плечами:

— Ты еще, видно, под лекарствами, весь такой потерянный во времени и пространстве...

Минотавр прошел сквозь время вспышкой в больном мозгу.

Картинки завертелись, как в калейдоскопе, кадры из другой жизни, другого мира: раз, два, три четыре, пять — рогатое нечто, прикатившее из небытия в гробу на колесиках, выбирается из жуткого транспорта.

— Шесть, семь, восемь, девять... — дышащее чернотой, оно стоит в открытых дверях:

— Десять! Счет окончен, — рычит чудовище.

— Матери не звонил, не стал пугать, Алиска только знает. Понимаю, ты был бы против, но я решил, что ей-то надо. И да — у нее твоя группа крови, если че...

— Мы с ней помирились. Кажется, — вяло, словно засыпая, промямлил. — Ты, главное, пообещай мне, поклянись.

Савва нагнулся, чтоб лучше слышать, и услышал:

— Там живет огонь, его надо лишь разбудить.

Друг ждал. Илья закрыл глаза, тяжело задышал. Савва поднялся и тут услышал:

— Сожги их все, — вынес приговор еле слышно. — Сожги их все!

Художник уснул.

Лишь открыв глаза и убедившись, что все так же в палате с маленьким окошком, в бинтах и с капельницей, а не в тридцатой комнате у открытой двери, встречающий безумие (оно, говорят, заразное), Илья расслабился, выдохнул:

— Выбрался.

И поймал то чувство уже виденного, дежавю, — он уже говорил это вроде бы день назад, в палате была сестра-сиделка старенькая, прозрачная.

Художник улыбнулся.

Вечером, вспомнил, в очередной раз приходил Савва.

— Или я, или эти обои, — сказал тогда тихо, словно самому себе, Илья.

Савва тупо огляделся. Обоев в больничной палате без номера (ох уж эти номера) не было. Окрашенные в голубой цвет голые стены, плохо побеленный потолок, тумбочка, на ней лекарства, фрукты, блокнот с карандашом...

— Обои у тебя в общаге?.. — пробасил.

— Говорят, это были последние слова Оскара Уайльда: «Или я, или эти обои». Обои победили, о да. Вещи всегда побеждают. Неживые потому что. Хотя в случае со мной все началось с обоев как раз-таки.

Савва промолчал. Художник продолжил:

— Если это даже временное помешательство, все равно первыми ожили обои в

той комнате. Рисунок на обоях... Хотя, проехали. Все изменится, если ты сожжешь все картины в той комнате. Не задумываясь, спалишь к чертям собачьим.

Савва достал из кармана спортивных брюк смятую до неузнаваемости пачку сигарет «Винстон»:

— Ты хорошо обдумай это еще, хотя бы денек, приди в себя... Чтобы не сожалеть, ты же понимаешь... — На колени упали коричневые стружки табака.

— Мы такие слабовольные, бессильные, даже перед простой зависимостью. От всего зависим. От близких, от сигарет... Привязаны к мелочам. Мы рабы привычек, — озвучил мысли бросающего курить друга художник. — Я знаю, что эти мои комнаты, то, что я сотворил там, они стали моей болезнью. Заразили меня!

— Рабы, — задумчиво, в пустоту, себе под нос, сказал Савва и сжал кулак, бумажный комок с крошками табака убрал назад. — Ты подхватил болезнь от своих картин, так?

— Так... — Илья подмигнул. — Я напишу новые. Но чтобы сотворить новое, надо разрушить старое. Расстаться с ним безжалостно, жестоко.

Стук по раме окошка стал одобряющим знаком.

Тук-тук-тук.

— Кто там? — Поднялся, нервно задергалось левое веко. — Неужели и здесь они нашли меня, — прошептал художник, но стукача не увидел.

— По-моему, это снегирь или дятел. Дятел, точно.

Илья задрал голову, но увидел лишь кусок синего неба, голые ветки дерева.

— Хорошо не голубь, а то был там один... — Упал на подушки. — А, к черту. Птица с окровавленной грудью — хороший символ — к огню.

Птица стучит:

— Тук-тук...

Илья говорит:

— Сожги все по одной, за общагой есть пустырь, там и сожги, но по одной, чтоб наверняка.

Потом он уснул — теперь он много спит, — и снится ему всегда одно и то же. Открытая дверь с темным силуэтом на пороге.

— Решено, — снова и снова говорит в тишину Илья, готовясь к встрече с другом, репетируя ответ. Голос от таблеток или со сна изменчиво тих, вял.

В себе мы рычим львами, а выдаем — жалкий мышинный писк.

Через час пришел Савва с пакетом еды:

— Говорят, ты не ешь толком, решил вот с ложки покормить, — обдавая свежим запахом уходящей зимы.

— Покормишь хоть изо рта, но сначала сожги их все! — громко, почти рыком.

Савва сел:

— Это твое крайнее решение?

— Крайнее не бывает.

— Если это и вправду излечит тебя — я хоть всю эту твою гребаную общагу спалю, — вытащил из пакета на тумбу пластиковый контейнер с супом.

— С каждым мазком они высасывали из меня меня же. Питались мной. Кормежка — я это так называл. Думаешь, откуда эти порезы на руках? Я кормил их кровью, смешивая ее с красками...

Говорил он, закрыв глаза. За веками художник опять стоял в комнате перед открытой дверью...

— Все вы художники того, — отшучивался друг. — Я подозревал, откуда у тебя такой насыщенный красный цвет.

— Сожги их сегодня же, — открыл глаза.

Друг кивнул:

— Сегодня. Вот Алиска сменит меня, и съезжу, сожгу.

— По одной.
— Хоть вместе со всем общежитием!..
Илья решил: отлично.
Савва спрятал задрожавшие ладони в карман.
Птица с окровавленной грудью вернулась ближе к обеду.
— Тук-тук, — продолжался счет.
— Посланник из мира комнат, — отметил художник. — Они знают, что скоро им конец. Ты там поосторожней.
Друг жевал мятную конфету, промычал.
— Тук-тук...
— Странно, что не у дятлов мы спрашиваем, сколько нам жить осталось, а у кукушки. Дятлы могли бы нехило настучать...
Пришла очередь ириски — так мужчина боролся с желанием покурить.
— Те-с-с, — неожиданно Илья вскинул руку. — Слушай.
Савва проглотил конфету. Прислушались. Дятла не слышно.
Слышно, как в соседней палате играет музыка и кто-то стучит в такт ей по спинке кровати или по тумбочке:
— Тук-тук-тук-тук...
— У тебя, походу, сосед за стенкой завелся, — забросил очередной леденец в рот. — И, походу, жесткий меломан.
Иногда они возвращаются — избитое выражение пыталось взорвать черепную коробку, чтобы быть услышанным, Илья прошептал:
— Это больше, чем знак. Сначала голубь, теперь — *это*.
— Дятел, — поправил друг.
— Это, бля, Чайковский! — с надрывом, злобно, прикусив нижнюю губу: — Дятел тебе!
Савва развел театрально руками, запел:
— Ала бала Чайковский, улица...
— Ты че, не понял?! — перебил криком художник. — Это «Щелкунчик»! Чайковского любимый балет, самоубийцы из двадцать восьмой комнаты! Миша повешенный, помнишь?! Тот, что... Они нашли меня! Они выбрались, как и я!.. Следом за мной!.. Выкарабкались!..
Илья укрылся одеялом с головой.
— Миша? Повешенный?.. — Савва выплюнул сосательную карамель в фантик. Незнакомая мелодия, приправленная постукиваниями, стала громче.
— Сожги, — глухо донеслось из-под одеяла. — Сожги их. Прошу.
Кудрявый друг встал:
— Я же обещал! И это... Я скоро вернусь.
В больничном коридоре лампочки на 60 ватт горят через одну. На стенах висят пожелтевшие, нарисованные от руки плакаты. Обо всем на свете: начиная с проблем кожи, кончая проблемным жидким стулом.
Савва смело, чего требовала мускулистая фигура качка, постучал, не дожидаясь ответа, заглянул в палату с номером 10, откуда доносилась музыка с надоедливym аккомпанементом. Тук-тук-тук-тук-тук...
— Извините.
Вместо повешенного соседа из общежития на кровати с радиоприемником в обнимку — лысый старик.
— Выключите эту дребедень, пожалуйста, или наденьте наушники, здесь вам не курорт.
Старик слепо моргает, вглядывается, в палате пахнет разложением, гнилью.
— Выключить?! — переспрашивает громко.
Кудрявый качок почти кричит:

— Да, выключите!

Старик поворачивается, нажимает кнопки на приемнике, музыка играет еще громче, еще... Старик хихикает:

— Хе-хе, не хочет убавляться, хе-хе-хе...

Два шага — и Савва у розетки, одно движение рукой — и вот уже стариковская шарманка покоится в дальнем углу подоконника вместе с кусками окровавленной ваты и стеклянными банками.

— Вот вам и хе-хе!

— Это же Чай-коф-фс-с-кий, — стонет старик.

— Чай. Кофф. Шел бы он!..

И никакой жалости к старику. Ничего внутри, лишь тупое постукивание, долбежка: тук-тук-тук...

— Дятел это, а не Чайкофский. Его давно сжечь надо было, чтобы никого не калечил.

От безумной реплики повеселело.

Старик смотрит на незваного гостя, губы и дряблый подбородок трясутся, старик плачет. Без слез.

— Это «Щелкунчик»... Это Чайковский... Великий композитор и чародей, — старик набирает в легкие больше воздуха, с хрипом, со свистом выдает: — А вы... вы хулиган и дебил.

— Не включайте больше приемник, дедуля, иначе...

Старик замер.

— Не болейте, — Савва вышел из палаты.

В палате у друга рассмеялся:

— Ты меня заразил, походу, своей ненормальностью, сумасшествием...

На стуле девушка в больничном халате, обернулась, это Алиса.

— Развлекаетесь тут без меня, — роскошно по-голливудски улыбнулась она.

Савва улыбнулся в ответ:

— Сколько стоит старый радиоприемник?

Единогласно решили, что художника покормит супчиком Алиса. Пока Савва разберется с кое-каким неотложным делом.

— Безотлагательным и жизненно важным, — поднял указательный палец Илья и подмигнул.

Алиса посмотрела на друзей:

— Мужская солидарность, понимаю, только большинство бед именно из-за нее — так, к слову, мальчики.

Савва сказал:

— Согласен с тобой.

Илья погрозил ему пальцем:

— Спасибо за тишину.

— Мне правда надо. Я если не сегодня, то завтра с утра как штык, — пожал палец другу, погладил Алису по голове.

— Как на войну — ощущение — уходишь, — Алиса шлепнула мужчину по задку.

Илья закашлял.

— Ага, — Савва закрыл тихо дверь.

— Ощущения меня еще никогда не подводили, — повернулась к больше чем другу она. — Интуиция женская, знаешь ли...

Илья перестал кашлять:

— Знаю. Только мы всех победим, ты же знаешь.

Она сказала:

— Знаю.

Попросила:

— А теперь открывай шире рот, чтоб не пролить. Буду тебя кормить.

Илья послушно открыл рот.

В больницах чувствуешь себя больным. Савва выскочил из дверей приемного покоя и вдохнул свежесть пасмурного зимнего дня.

За забором серой пятиэтажной больницы автобусная остановка.

И природе вокруг больницы тоже поставлен страшный диагноз, как и многим ее обитателям. Редкие птички на скрюченных костлявых ветках, сморщенные, покрытые коричневыми язвами прошлогодние листья, и солнце светит бледненько, будто сквозь марлю.

Савва развернул конфету, подбросил, поймал ртом, а в голове один безобразный образ Щелкунчика и сводящее с ума «тук-тук-тук...»

Побежал, громко топая по асфальту, стараясь хоть на минуту перебить этот стук в голове.

Тук-тук-тук...

Так стучит тревожное, испуганное сердце. И этот стук убивает.

Тук...

Место, которого нет, находится на отшибе. Автобусом добираться — как пешком до Луны.

А это и есть Луна, самая настоящая. Савва шагал к двухэтажному зданию, карамели закончились, и в голове стучало его напуганное сердце. «*Напуганное* — это совсем не то слово», — думал Савва. Он с детства научился ничего не бояться, кроме одиночества и смерти близких людей. Сердце колотили чувства, лупили, как боксерскую грушу со всех сторон, — отчаяние и безвыходность...

Ему предстояло нелегкое дело — уничтожить произведения искусства.

Он ценит все, что делает друг, они знакомы целую жизнь, они столько пережили... Илья — отличный друг, верный и сумасшедший. И необыкновенный художник, это подтвердят эксперты из мира искусства... Сжечь все, что он сотворил за последние месяцы, — как-то неправильно. Не по-человечески.

Предательством же будет — если он не уничтожит картины.

И эти мысли запутывали... Пугали своей нереальностью. Это происходит не с ним, а если с ним — то где-то не здесь, не на планете Земля. На Луне.

Все стало ирреальным. Мир изменился...

Савва словно завис в невесомости где-то над лунным кратером. Шаг как во сне... Медленно... И вот ты уже паришь над землей...

Не чувствуешь себя. Своего тела. Сердце, оно больше не колотится...

Идти по воздуху легко и необыкновенно. Невыносимая легкость небытия — вот она...

И руки не его, он их совсем не чувствует... Ключ в замок, щелчок — и всплываешь в комнату с номером 30. А там девять картин глядят на тебя, полные жизни, тьмы и света.

Закрывать дверь, Илья терпеть не может открытые двери...

Савва болтается посреди комнаты среди живых картин.

На картинах комнаты.

Вот он узнает комнату 27 — на ней молодая пара. Илья, чтобы оживить полотно, украл у них что-то... С нее и надо начать. Сжечь ее первой.

Рукой в карман, а там — лишь смятая сигаретная пачка и ни крошки табака. Ни спичек, ни зажигалки.

Есть фантик с завернутым недососанным леденцом и...

Снизу на него смотрит перевернутая последняя работа друга.

Картина без названия, но самая узнаваемая из всех. Это он смотрит на себя в проеме открытой двери. Он. Вот эти надоедливые кудряшки в глаза, квадратом челюсть, сломанный в двух местах боксерский нос...

Савва узнал себя. Улыбнулся себе, помахал сверху. И что это?.. Он, написанный маслом, помахал в ответ?..

На Луне все вверх тормашками.

Решительно выбросив бумажный комок, он стремительно опустил. Собрал все силы, поборол невесомость, опустил, обрушился вниз. На себя. В себя. Влетел, попав берцем себе по лицу. Лицо с кудрями и сломанным носом треснуло, разлетелось со звоном разбитого зеркала.

Остался один пустой проем открытой двери комнаты с номером 30.

Комната 27

Пойди к муравью

Новая Библия и глушитель АнтиМеркель

Сигнал из космоса Виталий поймал через три месяца после увольнения. В ночь на девяносто четвертые сутки бессмысленного просмотра телевизора мужчина, допивая очередной баллон пива, вдруг понял, что значат эти мельтешения белых и черных точек на экране.

— Есть сигнал, — отрыгнул он и сел писать книгу.

До сокращения Виталий работал в городском управлении строительства инструктором по технике безопасности.

— А что урезали меня, — делился он с женой Викторией, — так потому, что прознали, что в Высший Вселенский разум верю я больше, чем в политику. И что не знаю, кто такая Ангела Меркель.

— Канцлер Германии, — тихо подсказала жена. — Первая женщина на этом посту. — Помолчала и закончила с глубоким вздохом: — На нянечкину зарплату мы не потянем ребенка.

Он пообещал что-нибудь придумать и, выманивая у жены деньги на пиво, упорно ждал прямой трансляции с неба.

— Главное — чистый разум, — разъяснял. — Открытые каналы и чакры. Если не медитация. А в комнатке общежития какое может быть созерцание?.. Никакой трансцендентальности не постичь, ни открыть, ни выйти, разве что до толчка. Тогда альтернативой медитации может стать алкоголь. Ты же, Лунка моя, не думаешь, что я тупо напиваюсь?..

Виктория вздохнула в ответ и повторяла:

— Я помню тебя таким веселым анархистом. Изобретателем. Верю в тебя. Знаю, что ты находчивый. Мы выкрутимся... Но прошу — Лункой не называй меня, я же Космосом тебя не называю, уже сколько раз говорила, звучит как-то пошлово...

Муж обиделся:

— Это для плебеев-простолюдинов, верующих в силу власти, политику и в Ангелу Меркель «Лунка» звучит пошлово. Луна — спутник Земли. Ты — мой спутник. Мое отражение Солнца. Луна же солнечный свет отражает ночью, — уточнял. — Ласково, уменьшительно-ласкательно я зову тебя — Лункой. Луночкой.

Девушка выдыхала:

— Ну, не на людях...

— А что есть человек?.. Все эти начальники из управления, все эти президенты,

депутаты? Кто они? Разве люди? Ангела Меркель эта? Кто? Люди не могут управлять людьми! Только Высший разум. Космический...

И Виталий, принимая необходимую дозу медитативного алкоголя, слушал Космос. В белом шуме радио и телевизора. На девяносто четвертые сутки он услышал и проникся космической мыслью.

— Это будет Книга Книг, — метался по комнате, истерично расчесывая замусоленную шевелюру, посыпая вокруг себя все белыми искорками перхоти. — Я покажу вам Ангелу Меркель!

Теперь он перестал выходить даже за пивом, до киоска. Просил жену:

— Ты берешь на себя тяжелую ношу. Знаю, Луна очей моих. Жены писателей созданы для страданий, но эта великая заслуга сродни святости.

Он целовал руки, прятал в ее ладонях лицо и всхлипывал:

— Как Софья, не помню точно, Андреевна у Толстого. Как Анна, что была стенографисткой, а стала женой Достоевского. Как няня, няня, в конце концов, Пушкина!..

— Возьму литровую, на больше не хватит, — гладила мужа по голове. — Помыться бы сходил. Постричься, волосы вон по плечи...

— Давай полторашку, и я в душ сгоняю, а потом писать, писать, писать...

Весь месяц Виталий читал жене строчки будущего бестселлера. Читал с выражением, в разных интонациях и по ролям, читал, растягивая слова и долго размышляя над синтаксисом.

Виталий Храмов

КНИГА

Новая Библия

ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, ТЫ СТАНЕШЬ БОГОМ. ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ. ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ. УЖЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ ЭТО.

А еще была реклама в прайм-тайм: «Мировой бестселлер. Книга Книг. Дочитать придется до конца!» — заявляют с экрана ТВ самые знаменитые звезды шоу-бизнеса.

«Дочитав до 25-й страницы, я поняла, что становлюсь лучше, ощутила себя живой, настоящей, нужной!..» — визжит певица.

А на 50-й странице загораются огромные буквы разноцветным сиянием: **ТЫ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ!**

«Это невероятно, — восторгается политик. — Но я знаю, что такое смысл жизни. Я обрел его на 85-й странице Книги!»

С ПЕРВОЙ СТРОКИ СОТОЙ СТРАНИЦЫ ТВОЁ СЕРДЦЕ НАПОЛНИТСЯ ЛЮБОВЬЮ! ТЫ УЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ! И БУДЕШЬ ЛЮБИТЬ И РАЗДЕЛИШЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ!

Тут по привычке он прерывался смочить пересохшее горло — желательно, конечно, пивом. В лучшие дни это получалось, в дни сумрака пиво заменяла газировка из соды и уксуса.

Виталий требовал, чтобы жена не перебивала, не переспрашивала («а то снова начнешь про прайм-тайм спрашивать — когда и что»), продолжал, помня текст наизусть, закатив глаза к давно не беленному потолку:

— Бог есть любовь! Это новая Библия. Такое мог написать только Бог! — восторгается нобелевский лауреат по литературе.

«Ты должен это прочесть! — кричат таблоиды. — Книга, меняющая сознание!»

«Весь мир должен прочесть ее, и тогда наступит новая жизнь. Наступит Рай! Книга-преддверие — мы стоим у врат долгожданной жизни, где все счастливы, здоровы!..» — утверждает ученый.

А начинается книга так:

В начале сотворил Бог, теперь небо и землю творю я. Прочитай и узнай, как и тебе, друг мой, стать Богом. И начать творить. Новое небо и новую землю...

Книга эта называлась «Книга». Ее автором был неизвестный ХВ.

— Это грандиозный дебют новичка в литературном мире. Мировые премии и переводы на все возможные языки мира, — брызгают слюной от восхищения критики. — После Книги никто из писателей не отважится написать лучше! Это путеводитель в Золотое время, о котором все мечтали! И вот оно наступило!

МЕЧТА СБУДЕТСЯ — ТОЛЬКО ДОЧИТАЙ КНИГУ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКИ! — такими словами заканчивается аннотация к Книге.

Он закрывал глаза и прижимал без того измятые листки к сердцу:

— Это то, что транслировал Космос прямо в самую мою сердцевину, а я выжал уже на лист. Как кровью писал и слезами.

Вика вставала с табурета, целовала мужа:

— Нет слов. Так смело. Непривычно. Дальше что?..

А дальше заглохло — у Виталия Храмова прервалась трансляция. Замолчал Космос.

— Может, обидел чем? — спрашивал тихо себя Виталий, лежа на диване. — Тонкие миры так переменчивы... К примеру, они не переносят политику, власть в какой бы ни было форме. Та же Ангела Меркель могла стать причиной сбоя сигнала. Слишком много ее в этой комнате последние месяцы... Глушит сигнал. Ангела совсем не ангел, я так скажу. Канцлер Германии — звучит как-то враждебно, по-фашистски.

Вот бы придумать заглушку против глушителя Ангелы. Говорю «Ангела» — имею в виду всех политиков Земли.

Пребывая на шаткой границе сна и яви, Виталий увидел, глубоко в себе, как должен выглядеть этот прибор.

По форме похоже на радар. С мощными сенсорами, чувствительными к тонким мирам.

— Эх, жаль, не силен я в электротехнике и физике, — томно ахнул и повернулся к стене.

У него давно своя шкала положений на диване. С досконально расписанными мыслями и возможными желаниями во время принятия той или иной позиции.

Например, на спине возможно без движений лежать не более получаса. При благоприятных обстоятельствах, без влияний извне, таких как физические позы (зачесалось под лопаткой, скрутило живот), — чуть более часа. Желания попить пиво, желательно светлое, съесть что-нибудь. Можно сладкое. Профитролей. Вспомнить, что соседу Грише из 29-й комнаты занимал пятихатку. Обматерить его, плавно перейдя к ругательствам в адрес Меркель. Надругаться над канцлером Германии всеми возможными способами (включая запрещенные), три раза без остановки на перекур в течение десяти минут.

И неправда, что мужчина думает о сексе каждые семь секунд (это получается более восьми тысяч раз в день). Восемь тысяч раз мужчина может подумать о пиве, но никак не о сексе. Про чирей, зудящий в самом интимном месте, будет думать, пока не пройдет. О долгах, которые не отдадут... Обиды и обидчиков, на перечисление которых уйдет больше двух часов, — какой там секс...

И не о работе. Работа — враг свободы. Как печать в паспорте. Клеймо на жизни. О работе думать категорически не рекомендуется.

— Это делает нас рабами. Мысли о работе. Поиск работы. Денег на существование. Мы рабы работы. От этого надо избавляться. От мысли даже. Не впускать...

На правом боку лежать проще, спокойней. Мысли о невозможном и непостижимом... Желание ничего не делать и стараться тише дышать. Слушать сердце и урчащий желудок.

С левым сложнее, близость сердца напоминает давящим чувством тревоги, нагнетает плохие мысли. Отгоняет желания, какие бы ни были... Помни о смерти.

Обои на стене, по обыкновению, ставшему привычкой, возвращали Виталия в реальность.

Пожелтевший рисунок — голубые розы, заключенные в геометрические фигуры, — вынуждал подниматься с дивана, недовольно бормоча миру вокруг:

— Ну что? Что тебе от меня надо?..

Виктории, если бы на месте жизни была она, от мужа нужно было одно, и она это повторяла и повторяла:

— Найди хоть какую-нибудь работу.

— Дворником?! — восклицал вместо ответа Виталий. — Тебе самой не стыдно будет, если я сортиры начну чистить, а?!

Жертва неуставных семейных отношений

Первый седой волос Вика обнаружила через месяц сожительства с Виталием.

— Знаешь где? — спросила.

Виталий угадал:

— На левой брови.

Вика бросила в него тюбиком крема для рук:

— Видел и мне ничего не говорил?!

Он мотнул плечами:

— А что такого? Тебе очень даже шло...

Еще один тюбик с тумбочки полетел:

— Мне двадцать три, если че!

— Мне двадцать семь, и ни одного седого волосика, — хихикнул, подобрал тюбики и оба швырнул в жену. — Возьмем тебе краску, в чем беда-то? Эт же все мелочи жизни...

Один крем попал в грудь, другой по носу.

Если бы Виктория вспомнила и посчитала, то сегодня ровно три года с той мелочи жизни. Только ей не до экскурсов в прошлое, перед ней вновь нелегкая задача — краска для волос или полтора литра пива для мужа?..

Пересчитала еще раз деньги в кошельке. Сегодня в детском садике праздник, и раздобревшая после шампанского завша отпустила нянечек на час раньше.

Долго не решалась позвонить мужу — «вдруг пишет?». Виталий позвонил сам, сделал звонок, у него, как всегда, на телефоне не было денег.

— У меня новая идея, — выпалил, когда она перезвонила. — Новый проект, он точно прибыльный. На миллион. Какой там — миллиард!

— Правда?! — вскрикнула радостно Виктория и тут же спохватилась, протараторила чуть слышно: — А не получится как в тот раз с видеофильмом? Ведь сколько денег и нервов потратили...

Виталий успокоил:

— Это знак свыше. Я задремал после обеда, и мне открылось. Я получил четкие указания и подробную инструкцию.

Выдохнув, Вика сказала:

— За комнату не платили два месяца, и компьютер починить не мешало бы...

— Все заплатим, починим. С такими деньгами мы дом купим. Дворец. Съедем из общаги к чертовой бабушке и ребенка заведем, как мечтала.

— Ой, — все, что смогла ответить она.

Муж взахлеб продолжал:

— Клянусь, это будет работать и принесет нам реальные деньги. Большие. Меня осенило, как током пронзило. Космическая мысль. Даже страшно стало от осознания.

Он говорил. Вика купила в минимаркете двухлитровую бутылку светлого пива, Виталий рассказывал, как вскочил с дивана и принялся делать зарисовки. Девушка села в автобус, муж объяснял технологию трансляции, как он ее понимает. Через три остановки речь пошла о Божественном замысле и его проявлении во всех, даже скромных, идеях:

— Значит, пока, на сегодняшний день, достаточно того, что я написал в Книге. Библию писали почти два тысячелетия, если что...

Она знала, он всегда находит всему оправдание. Себе особенно. А с увеличением числа седых волос в ней крепла вера, что при необходимости Виталий найдет оправдание их разводу.

Сама же гнала подобные мысли. Случись развод, отец не удержится позлорадствовать:

— Я же говорил. Мой глаз-рентген еще никогда не подводил. Сказал: «Ненадолго этот Витя (он нарочно всегда путал и коверкал имена непонравившихся людей, а не нравились отцу все), болезненный уж больно на вид, да и по содержанию... Слушайся папу, он твою общественную, личную и интимную жизнь наладит».

Виталий в приступе паники, которая может возникнуть из-за отсутствия в нужный момент пива в холодильнике, бросался выражениями: «Давай разведемся, если уж так невмоготу», или «Недопонимание супругов — первый шаг к раздельному жительству»...

Она и влюбилась в длинноволосого юношу за его своеобразный язык. «Такой образный, золотистый, сказочный», — наделяла она остроты Виталия высокопарными эпитетами. И боялась подумать, что этим он сильно похож на ее отца, любителя «словесных красотей».

Намеченный, согласно очереди в загсе, день ждали, отсчитывая каждый час до заветной даты, посылая смс-сообщения: «Котик, осталось 74 дня! Это 106560 минут. Люблю!»

— ...получается, что ты выглядишь, как еще одна жертва неуставных семейных отношений, — раздраженно закончил Виталий, а Вика подошла к комнате 27 и открыла дверь ключом.

Из телефона донеслось:

— Это ты, что ли, уже ломишься? Смотри, ни для кого меня нет. Если Гришка в коридоре — он мне должен.

— Нет никого в коридоре, — отключила телефон. Прислонила пакет к стене, пивная бутылка выкатилась к босым ногам Виталия.

— Лунка моя небесная, — и недовольного голоса, раздраженных нот как не бывало, — впереди у нас розовые слоны в кружевах и зефире...

Он поднял двухлитровку. Вика разулась, выдохнула:

— Так что ты там про жертву неуставных семейных отношений?..

Нахмурился:

— Жертву?.. А, это. Я тебе про образ женщины — той же Богородицы — как олицетворение всего женского. Каждая вторая, если не каждая женщина, девушка, девочка... Как она одета? Посмотри! Во что?! Как себя преподносит... Поведение. Жесты. Аура... Все выдает в ней жертву. Семейная жизнь написана в том, во что ты одета. Все семейные склоки и неурядицы у тебя на лице: в твоей губной помаде, в румянах на щеках, в тенях... Ваши отношения с мужем как на ладони, в твоей прическе, в перчатках, сумочке с кошельком. Модели телефона. Ведь так?..

Зашипело белыми пузырями пиво, Виталий открыл бутылку, налил полную с горкой пены кружку, Вика перевела дыхание:

— Так давно не секрет, что жена — это отражение мужа.

— Вот, умничка моя, — повесив усы пены, он чмокнул жену в щеку. — Настало время преображаться.

Виктория вытерла испачканную щеку:

— Ты намекаешь, что я одета не комильфо?..

— Я про тех мокриц в серых юбках и мешковатых свитерах цвета блевоты, с пережженными перекисью волосенками, собранными в хвост. Которые на каблуках ходить не умеют, купят резиновые по колено говнодавы и чешут на полусогнутых, как лепреконы в поисках золота. Только их золото — дешевые распродажи и уцененные товары.

Сделал большой глоток и завалился на диван. Вика вышла помыть руки, вернувшись, сказала:

— Так если бы мужья работали и зарабатывали более или менее нормальные деньги, разве жены ходили бы за таким золотом лепреконами?..

Виталий добавил пива в кружку:

— Твоя правда, Лунка, и до мужей дойдем. Все по порядку. Всех же лично не будешь одергивать — это не надевай, то не носи, так глаза не красят, и не сутулься. Надо начинать с большого. Великого. Переодеть и поменять образ тех, кто значит многое для человечества, на кого все равняются, кто может диктовать моду, проще говоря.

— Встречают по одежке...

— Верно, мой лучик. А знаешь, с кого начнем преображение?..

Пиво дало о себе знать, голос завибрировал у Виталия, «распоясался», как он бы заметил.

Вика сказала наугад:

— С папы Римского.

Муж взвизгнул:

— Белиссимо! Почти попала. Ранила.

Сними Христа с креста! Платья и другие украшения Богородицы

Фантазии у Виталика хватило на шесть юбок, столько же кофт, три платья, восемь пиджаков, десяток моделей причесок и около двадцати видов сумок и кошельков. На это ушло два с половиной дня, и Виталик решил упростить задачу, копируя платья и прочие туалеты для Богородицы из женских журналов.

— «Космополитен» — для шлюх, уж простят меня невинные создания, попавшие в сети рекламных компаний. Хотя уверен, найдутся и такие, которые решат одеть свою Богоматерь в наряд из «Плейбоя».

Вика принесла мужу пачку старых журналов моды, и первые три вечера он прилежно вырезал, клеил, раскрашивал... Готовил свою коллекцию.

— Это платья для Богородицы. К набору из всяческих нарядов и украшений должна прилагаться обнаженная фигурка Божьей Матери. Можно с младенцем, тогда бонусом пойдут распашонки, пеленки, чепчики для беби Иисуса.

Виталий загорелся новой идеей.

— Это не какая-то там эфемерная заглушка АнтиМеркель. Это реальная возможность заработать. Прославиться. И почему до этого раньше никто не додумался? — спрашивал себя, спрашивал жену.

Вика вздыхала. Виталий размышлял:

— Потому что это должны быть мы. Космос приберег это открытие для нас. Ведь ничего сложного, заменяем в наборе для девочки куклу Барби Девой Марией — и вуаля. Это больше чем игрушка теперь. Твоя персональная Богородица.

— А это не богохульство? — Виктория разглядывала вырезанные мужем из

цветного картона нимбы в розовый горошек и с надписями «Я люблю Россию», — попахивает как-то...

— Это возвращение к вере, — отвечал с легкостью Виталий. — Я еще к майкам и футболкам надписи придумую, типа «Я выбираю Иисуса!» и «Верующий до конца спасется!».

Ночью же, долго ворочаясь, Виталий никак не мог заснуть. Когда это все-таки произошло, хотя наутро он будет рассказывать жене, что не спал, увидел Богородицу.

— Как с иконы сошла, — вспоминал он, в трусах нервно накручивая круги по комнате. — Вся в сиянии, а нимб в точности что я нарисовал, со смайликами. И она мне так по-свойски, знаешь: «Виталь, а ты про Сына моего не забывай».

Я рта открыть не могу и, как сейчас, в трусах ведь в одних перед ней, стыдно до инфаркта, отступить и прятаться некуда. Молчу, руками прикрываюсь.

Она сквозь улыбку: «Я же внутрь тебя смотрю, почему стесняешься своей наружности? Стыдиться надо за то, что внутри».

У меня голос прорезается, я в ответ: «Да-да, все верно, вы как скажете», — бурчу что-то типа того, а она снова про Сына. Я спрашиваю: «Вы про Иисуса?..» — «Сними его с креста, — отвечает Богородица. — Сына моего. Сделай так, придумай способ...»

Вспыхнула золотым светом вся вмиг, и я проснулся, а перед глазами стоит *это*.

Замерев посреди комнаты, Виталий протянул к жене правую руку и написал в воздухе указательным пальцем:

— Сними Христа с креста! — сказал и устало опустился на край дивана.

Вика протянула ему кружку дымящегося кофе.

— Я правильно поняла, это что-то вроде набора с фигуркой прибитого к кресту Иисуса и его надо будет снять с помощью каких-то инструментов? Спасти. Так?..

Муж кивнул:

— Уверен, найдутся индивидуумы, которые снова и снова будут прибивать Спасителя, распинать его вновь и вновь...

Виктория вздохнула:

— Это серьезно уже. И страшно, Виталь. Здесь точно можно схлопотать. Сейчас церковь только тронь — сама распнет любого.

— Да-да-да, — вскочил, подбежал к окну и выглянул в форточку. Снова вернулся, отпил кофе, обжег язык, подкрался к двери, прислушался. — Страшней будет, если идею эту кто-то украдет, — зашептал. — У стен есть уши. Ангелы Меркель не дремлют.

— Говорю «Меркель» — подразумеваю всех, кто против нас? — уточнила Вика.

— Идеи, к сведению, воруют и перепродают. Больших денег доходная идея стоит. У нас в России пока не шибко за идеи платят, но за границей...

Он опять подошел, приложил ухо к двери.

— Нет там никого. Гриша пьяный может только шарахаться, — успокоила Вика.

— А за стенкой? Заехал же кто-то?.. Женщина?..

— Не Меркель, точно, — засмеялась. — Куплю сегодня газету, посмотрю, может, подработку найду или еще что.

Виталий схватил жену за руку.

— Вот не начинай снова, пожалуйста, — прошипел ей в лицо. — Мне твои намеки только ауру портят. И себе ты карму этим не улучшаешь.

Вика вырвала руку.

— Совсем что ли?! Я тебе про подработку еще в том году говорила.

— Помню. Как раз я книгу начал писать, а ты с мысли сбивала своими вакансиями!

Натянул спортивное трико и футболку, исчез за дверью.

Вика застелила диван, пока убирала белье, вспомнила мать, как она терпеливо подбирала за отцом разбросанные вещи, а маленькая дочка смотрела на все это и

говорила себе, что никогда не выйдет замуж, а если все же случится, то ни за что не будет собирать за мужем его вонючие носки.

— История повторяется, — вздохнула горько повзрослевшая девочка Вика и вытащила из-под дивана носок Виталия.

Ганг, твои воды замутились

Неделю он носился с мыслью о патенте. Помылся и подравнял, как смог, волосы с целью всерьез заняться этим вопросом.

Вика сходила в библиотеку, нашла в интернете всю нужную информацию. Распечатки, которые она принесла, Виталий долго изучал. Громко потом возмущался. И наконец разорвал на мелкие кусочки:

— Я же еще и платить за свою находку должен?! Тридцать тысяч за ненужные бумажки! Обломитесь!

С горя («небо это так не оставит») упросил Вику купить полтора литра крепкого пива и уснул после третьей кружки. И приснилась ему вода.

Женщине снился отец. Он смеялся и махал молотком: «Примите заказ, — кричал сквозь хохот. — Вытащи Ленина из Мавзолея! В набор входит Ленин-китаец и Ленин-негр...» Ха-ха-ха! К нему прилагаются нимбы! И звезды! И мой глаз-рентген! Я хочу, чтобы ты это запатентовала-а-а-А! Крик разбил стекла, она слышала звон и боялась, что это бьются зеркала, как тогда, перед смертью мамы. Она была в ванной, мыла голову, когда над ней взорвалось в крошку зеркало. Мамино любимое, как считалось. Мама говорила: «Оно меня молодит».

Зеркала чувствуют тот свет, они проводники. Больше в ванной зеркало не висело. Отец брился на кухне, перед стеклянной дверцей микроволновки, а Викиного мнения никто не спрашивал. Да и не осмелилась бы она взглянуть в новое зеркало. Она и сейчас редко смотрится в зеркала. Так, на бегу, одним глазком, подкрасить губы, поправить челку...

Проснулась, звон выбрался из сна и наполнил комнату. Это Виталий барабанил пластмассовым и алюминиевым тазами.

— Не пойму, какой глубже? — вертел он их, по очереди надевая на себя.

— В трусах и с тазиком на голове, — Вика засмеялась. — И тебе доброе утро.

— «Ганг, твои воды замутились» — эта строчка просто кричит во мне, я с восьми утра уже как не в себе, — сказал Виталий и тише добавил: — Ты разговаривала во сне. Отца все своего не то звала, не то проклинала...

Вика встала, накинула халат.

— Да, кошмары всю ночь.

— А мне Ганг снился, вернее, не снился, влился в меня, забушевал во мне... Позвал...

— Это все пиво крепкое, — сказала в ответ, загрохотали об пол пустые тазы.

— Снова ты приземленно мыслишь, Вич!

Если Виталий был женой недоволен, то ласковое «Лунка» заменялось резким, страшным, трехбуквенным — «Вич». Вика это знала, а он знал, что она до дрожи ненавидела эти три буквы.

— Как диагноз ставишь, — возмущалась она. Только сегодня никак не отреагировала. И когда он в третий раз назвал ее словом из трех букв, Виктория лишь заметила вслух, что на трусах у мужа пятно:

— Приземленно-недвусмысленное пятнышко.

— Красный — это цвет праны, цвет сердца.

— Красный с натяжкой до коричневого, — поправила она.

— Анус, между прочим, обитель апаны, это субпрана.

— Давай постираю твою апану, — Вика подняла красный пластмассовый таз.

Виталий снял трусы и бросил в жену.

— Не мути и без того мутную воду, Вич. Если тебе отец всю ночь покоя не давал, не срывайся на мне. Дыши глубже.

— Ощущения у меня непроходящие, что с переездом в общежитие мы выйдем, как в трясине. И глубже с каждым днем.

— Ганг, твои воды...

— Это болото! Не Ганг!

— Предлагаешь послушать папочкин совет и переехать жить к нему? Всегда под его чутким вниманием и руководством? Так? Ты ведь поэтому начала все это?! Болото, трясина...

— Ладно, проехали, — махнула она трусами мужа. — У стиральной машинки шланг протекает, новый надо бы...

Голый мужчина не ответил, его привлекло темное отражение в эмалированном тазу. Тени двигались, жили, перемещались и трансформировались... Он слышал, как они шумят выходящей из берегов клокочущей, бурлящей водой...

Вика с работы позвонила на домашний телефон родителей. Отец как вышел на пенсию, так с весны до первых сильных морозов живет на даче. Трехкомнатная квартира наполняется пылью, паутиной и призраками в немом ожидании хозяина и редких гостей.

После первого гудка в трубке раздался грубый, недовольный голос отца:

— Что?

От неожиданности уронила трубку.

— Виктория, это ты, я знаю, — твердый, уверенный голос. — Ты мне сегодня приснилась. Сначала спутал тебя с матерью, вы ведь как две капли... Потом ты разбила зеркало, и я понял, я вспомнил... Ты в тот день, в ванной, так же...

Вика нажала рычажки отбоя — гудки в утешение не успокоили.

— Ганг, твои воды замутнели, — сказала и полоснула ногтями по лакированной поверхности стола, оставив заметные царапины.

Очищение

На лестнице, между первым и вторым этажом, ее остановила Галя-«Губа» из 33-й комнаты. Волосы обмотаны полотенцем, мокрые пятна на банном халате цвета детской неожиданности, — подметила Вика.

— Не поверишь, сработало, — схватила подвыпившая девица Викторию. — Я полчаса не могла без сигареты. А как выпью, так через каждые пять минут курю. И вот — на тебе, уже третий час. Три часа, Вик! В рот не брала!..

Женщины остановились.

Галина зашептала:

— Раньше почему не говорила, что твой наложением рук ауру корректирует?..

Виктория интуитивно ожидала чего-то подобного, поэтому ответила с улыбкой:

— О, это еще цветочки, знала бы ты, что он в постели творит, — и пошла вверх, дальше налево, в единственное жилое крыло двухэтажного общежития. Мимо комнаты 25, снова налево в приоткрытую дверь под номером 27.

Встретил Вику алюминиевый таз с водой на журнальном столике в центре. Муж, облаченный в ее банный халат, торжественно показал на подоконник, там стояли три полторашки пива:

— Вот, — вяло промямлил, — заработал.

Вика кивнула:

— Ага, скорректировал ауру, уже слышаны.

Виталий отрыгнул:

— Это Галька принесла, у нее, у сына, что ли, день рождения... Я не мог не

взять, — оправдываясь, присаживаясь на край дивана. — За такие услуги деньги не берут, если ты хочешь знать. Это дар, и он оплачивается по иному тарифу...

— Пивом, — вставила женщина.

— Ну, бабушкам, которые лечат, сахар несут, муку, печенье с конфетами...

— И вы с ней решили этот твой дар отметить? — раздраженно выпалила Вика. — Кому еще ауру подчищал?! Из 26-й, вроде, тоже нуждается в корректировке, нелюдима какая-то, а? Или Грише помоги, наладь жизнь. Чего? Да в этой долбаной общаге всем нужна помощь! Потерянные души! Бездомные и никому не нужные! Карма здесь у всех плохая! И это заразно! ЗА-РАЗ-НО!

Вика прокричалась, разулась и поняла, почему Виталий не противоречит, как обычно, и не разбирает по полочкам состояние кармы соседей. Мужчина уснул с открытыми ртом и глазами.

В тазу, черной паутиной, волосы Гали. Вику передернуло от отвращения и больно свело пустой желудок.

— Хорошо, блевать нечем, — сказала, и ее стошнило в таз.

Она давно заметила, что глазит себя безжалостно. Подумала на днях: «Как здорово, что пломба так долго держится». Не прошло и десяти минут — пломбы не стало. Обрадовалась, что забрали у нее старшую группу ребятишек — так зарплату на пятьсот рублей убавили.

«Ни о чем плохом не думать и ничего не планировать», — зареклась Виктория. Но сглаз проявлялся в мелочах, ежесекундных мыслях-вспышках, как сейчас. Волосы соседки исчезли в молочно-белой воде, Вика вытерла губы и, напевая про себя песню скворцов из любимого мультфильма детства, вышла с тазом в коридор, к умывальникам и туалетным кабинкам. Мычанием пытаюсь заглушить мысль: «Что если выпить все пиво мужа?»

Виталий разбудил во втором часу ночи:

— Чего-то пиво найти не могу...

— Я его выпила с художником, — сказала и повернулась к стене Вика.

— Как?!

— Пошла таз с твоей целебной водой выносить, встретила соседа Илью, предложила отметить, он согласился.

Мужчина схватился за голову:

— Что отметить? Боже ж ты мой...

— Развод, — зевнула Вика. — Сказала, что ты изменил мне с Галькой и что развод не за горами.

Виталик остолбенел с поднятыми над головой руками.

— Изменил?..

— Ауру ей почистил — если хочешь, так это назовем.

Трезвый он бы уловил нотки иронии в ее голосе, но выпитые с соседкой несколько бутылок крепкого пива заглушили голос разума, оборвав связь с Космосом и с самим собой.

— Но это не измена! Я только опустил ее голову три раза в таз с водой, делов-то...

— Целых три раза?! Ну, ты герой, силен...

— Вик, стой, постой, ты что, правда выпила все пиво?!

Он встал на колени у изголовья дивана.

— А ты правда спал с Галькой?..

— Да как я?.. Ну ты что?!

— Ладно, прощен. В тазу твоём пиво, алюминиевом. Хотела тебя проучить, да что-то плохо совсем ты выглядишь. Крепкое же ты с роду не пил...

— Дык... — поднялся с хрустом в коленях. — Заработал же, не выливать ж...

Шкаф с вещами отделял диван от кухонного угла, где под столом таились тазики. Шаря в полутьме, Виталик обнаружил пропажу, незамедлительно откупорил бутылку и принял на грудь, булькая и бормоча:

— Вот оно, причащение, истинное очищение. Смывает с сердца и души все пути. И, как вновь рожденный, ты снова готов к подвигам и откровениям.

Вика укрылась с головой, страшное слово «развод» застряло в ней, разрастаясь, деформируясь, мутируя...

Заколка (Голос крови)

Всю следующую неделю после коррекции ауры соседки Виталий болел.

— Почти всю энергию растратил, — не поднимая головы с подушки, говорил. — Исчерпал сосуд. Подпитаться надо... От природы. От неба...

Вика не стала говорить, что Галя закурила на следующее же утро после процедуры с тазом. Они столкнулись в дверях общежития, Вика спешила на работу, Галя с похмельным баллоном пива в свою комнату.

— Только мужу не скажи, — попросила, выбрасывая сигарету. — Это я виновата. С перепоя всегда так, всякие непотребства творю, это в крови алкоголь говорит. Кровь после бурных возлияний жидкая, голосок писклявый, вот спирт и заглушает его. Поэтому все выпившие кричат, как потерпевшие, а кровь помалкивает, — философствовала Галя.

Пообещав, что муж про сигарету не узнает, Вика оставила Галю одну в поисках ответа на вопрос о смысле жизни.

В послеобеденный сончас она набрала номер телефона родителей.

На этот раз гудкам, казалось, не будет конца. Гудки слились в один непрерывный гул, и Вика не сразу сквозь него услышала отца:

— Хочу сказать тебе, зеркала у нас так и занавешены. Я не осмелился. Никто, кроме тебя и матери, в них ведь не смотрелся...

Она только выдохнула в телефон.

Отец говорил спокойным, гипнотизирующим голосом:

— Мама твоя, помнишь, верила фанатично, что можно увидеть души умерших, близких родственников, в зеркале, если посмотреть в него после полуночи. Помнишь? Вот я и боюсь, что она окажется права... Если бы не один, а с тобою если вдвоем — не так страшно. Мы бы расчехлили, открыли зеркала. Один я не рисков. Нет.

Виктория слушала, прикусив костяшки пальцев на правой руке.

— Не поверишь, ночами, мучаясь бессонницей, я слышу шорохи в зеркале, в том, которое в спальне. Мы занавесили его простыней, на которую ты еще малышкой пролила несмывающиеся чернила, мама хранила ее, потому что пятно было в форме сердца...

Вика, не сдержавшись, всхлипнула, дала отбой и в голос заплакала.

Она звонила всю неделю в одно и то же время, отец, словно по молчаливой договоренности, снимал трубку, вспоминал прошлое. Она молча слушала, грустно вздыхала, иногда всхлипывала, иногда из губ вырывался короткий смешок.

— Нашел вчера заколку, — сразу начал рассказывать сегодня отец. — Я ведь, как съехала, закрыл твою комнату и на дверь не взглянул даже. А заколку нашел на лоджии. Полез искать дюбель панно на кухне прибить как следует. Смотрю, блестит что-то на дне ящика с инструментами. Улитка такая, золотого цвета, со сломанным зубчиком. Это же мамина?

И дочь ответила:

— Моя.

Большая неделя завершилась для Виталия новым откровением:

— Я понял, в чем секрет Христа! — прокричал жене, стоило ей появиться в дверях. — Это отвечает на самый важный вопрос веры. Верить или нет.

Вика после разговора с отцом была в отличном настроении, улыбалась и принесла мужу литровую банку пива.

— Вот это событие мы и отпразднуем, — ответила словами отца, сказанными ей несколько часов назад.

— Креститель не просто опустил Иисуса в воду реки, когда проводил обряд крещения. Чтобы родился новый человек, надо убить старого. Понимаешь?..

Она кивала, разбирая пакет с продуктами:

— Да-да, — соглашалась, не прекращая улыбаться.

— Что да-то?..

— Все верно ты говоришь. Я же никогда в тебе не сомневалась. И роман ты допишешь, знаю, и что там еще?.. Все, все у тебя получится.

— А что с Иисусом Иоанн Креститель сделал, поняла?

Вика ответила:

— Судя по всему, утопил.

Муж хлопнул в ладоши.

— Моя женщина! — воскликнул. — Bravo, Лунка! Конечно, утопил! Иначе бы Иисус не был тем, кем стал. Старый Христос умер, там, в водах реки Иордан. Креститель убил его, позволил ему захлебнуться, а потом вернул к жизни — это второе рождение и было отмечено появлением голубя, что сошел с неба на новорожденного тридцатилетнего Иисуса... Вот и ответ на вопрос всей жизни. Надо умереть, чтобы родиться человеком, достойным неба.

Виктория открыла банку пива, разлила по стаканам.

— Думаю, тогда тебе придется повторить сеанс с Галей, теперь уже в ванной, хотя, наверно, можно и в тазике ее утопить, — протянула стакан, полный шипящей пены.

Муж взял стакан:

— А что с Галей не так?

Вика отхлебнула, продолжая улыбаться:

— Сорвалась Галя, вот что. Закурила.

— Как?!

Она выпила пиво, выдохнула:

— Да вот так! Наутро после тазика уже затягивалась никотином твоя подопечная.

Виталий поперхнулся, отдал стакан с пивом, прошелся по комнате.

— Не может эта схема не работать... Нет. Нет. Это с ней что-то не так... С Галей...

— Так и я про то, — выпила пиво мужа Виктория. — Надо бы ее как следует откорректировать. Галю. Чтоб навек забыла про курево.

Виталий почесал голову, разбрасывая снежинки перхоти.

— Думаешь? У Крестителя была прямая и непрерывная связь с открытым небом. У меня же — так, через пень колоду.

— Я верю в тебя. Я с нашего знакомства, с первой встречи верила, знала, что ты необыкновенный...

Виталий исчез за шкафом, загремел тазами, вернулся с алюминиевой посудинкой.

— Ты как, не желаешь? — спросил жену полупшепотом. — Потренироваться мне бы...

— Не желаю — что?! Обновиться?! — Вылила пиво в свою кружку. — Вот если бы днем раньше, я, может, и согласилась. Стать новой. Но сейчас...

— А что изменилось со вчерашнего?..

— Заколка нашлась. Любимая с детства. Талисман мой. Оберег.

Виталий, не понимая, замотал головой.

— Золотая улитка, мама мне, когда я в первый класс пошла, подарила.

Не поверишь, стоило мне только надеть эту заколку — сдавала экзамен на «отлично». Дам подруге Насте — и у нее пятерка.

Виталий уже кивал, соглашаясь:

— Верю в такое, ага, бывает...

— А потом как в воду канула заколка. У нее зубчик один отломался, поэтому надевала ее в жизненно важные, решающие моменты и всегда хранила в маминой шкатулке с драгоценностями. Тут в техникум поступать, схватилась, а улитки нет. Весь дом перевернули с мамой, нет заколки. Ох и наревелась я тогда...

Допив последние капли из банки, Вика закончила:

— Не поступила я в техникум, короче говоря, потом не стало мамы, — она икнула. — И много лет спустя, сегодняшним днем, заколка нашлась.

— Супер. Теперь у нас, значит, все наладится и получится.

Вика рассмеялась:

— Может, и мне не надо будет работать, деньги улитка нам золотая в домике своем приносить будет, а?! И ребенка наконец сможем позволить. Съедем с гребаной общаги. Забудем про АнгелуМеркель и Галю... — развалившись на диване, мечтала вслух Виктория.

Виталий убрал таз назад под стол, вернулся к жене и лег рядом.

— Пусть улитка работает за нас. Работает на нас! — выкрикивала она громко. — И никаких тебе ссанных горшков и аванса в три тысячи!

— Можно и патент тогда на все мои изобретения сделать, — вставил Виталик. — С деньгами я и книгу быстрее напишу...

— И патент, и книгу... Ребенка как назовем?!

Они лежали, уставившись в потолок, касаясь друг друга голыми локтями. В комнате пахло пивом и потом.

— Виталий-младший, как тебе? — спросил он и сам ответил: — Все гениальное просто. Храмов Виталий Витальевич, как продолжение...

— А девочку Викторией-младшей, так?.. Как продолжение?..

И снова они молчали. Часто голос мешает, отвлекает, путает... Муж и жена не произносили ни слова. Они слушали Космос.

Зазеркалье

Вика впервые проспала. Последний раз она опоздала на урок в восьмом классе, с тех пор ее внутренние часовые куранты срабатывали раньше заведенного будильника примерно на десять минут.

«Это знак», — подумала она и не стала спешить. Решив, что сегодня она на работу не пойдет.

Но мужу, конечно, не скажет. Соберется, как всегда, поцелует его спящего в нос и уйдет, тихо закрыв за собой дверь. Сегодня она впервые за годы совместной жизни оставила ему записку на журнальном столике.

Ушла за улиткой. Могу задержаться. Могу с ночевкой. Может, и на пару дней. Сам говорил, что расставания укрепляют узы. Не волнуйся. Делай все, что запланировал и что считаешь нужным. Пельмени бросать только после того, как вода закипит. Ви.

Виталий прочитал, отвел взгляд на обои — голубые розы в геометрических тюрмах — снова прочитал записку. Рисунок обоев не изменился. Вслух произнесенные слова тоже не сотворили чуда. Виталик решил, что если это послание жены катастрофично, то пусть розы выберутся из вечного заключения. В десятый раз он запел:

— Ушла за улиткой...

Было время обеда, и Вика, всегда пунктуальная, подошла к двери в детство. Повернула ручку, дверь была открыта.

Вошла в коридор, полный солнечного света, блики от фотографий за стеклом ослепили, она не глядя знала, кто на этих снимках.

— Я вернулась, — сказала она. — Давай откроем зеркала.

Виталий постучал в комнату 33 во второй раз уже после обеда. В этот раз ему открыл сын Гали, школьник Миша, сказал, что мама на работе. Виталий попросил передать, чтобы она зашла к нему сразу, как придет. Мальчик ответил: «Ага».

Набрав в таз холодной воды, чуть больше половины, Виталий закрылся в комнате. Включил телевизор, шел черно-белый немой фильм.

На столе рядом с тазом — вырезки платьев, разноцветные нимбы, выдавшие виды листы бумаги.

На одном виден кусок текста:

Виталий Храмов

КНИГА

Новая Библия

Там было написано: *ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, ТЫ СТАНЕШЬ БОГОМ. ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ. ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ. УЖЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ ЭТО.*

На втором, смятом листе, фрагмент записки:

«Ушла за улиткой. Сам говорил, что... как вода закипит».

Вспомнил историю про девушку, которая из-за нечастной любви сунула голову в кастрюлю с кипящей водой. Это был рассказ или случай из жизни? Он прочел в газете или в книге?.. Виталий не мог вспомнить, и это его злило. Расчесывая ногтями голову над тазом, он любовался, как чешуйки перхоти исчезают в воде и выдернутые волосы становятся невидимыми через пару мгновений. В воде все исчезало, кроме его отражения. Виталий смог разглядеть свои черные зрачки на дне таза. Они смотрели на него, в него бездонной пустотой небытия. Смотрели темной стороной луны. Лунки...

— Исчезнуть, чтобы вернуться, — сказал. — Вернуться новым.

Закрыв глаза и исчез в темноте.

Темнота полна жизни. Кишит просто ею... Открыл глаза, когда диктор программы «Новости» сказал:

— Ангела Меркель теряет связь с реальностью. Миграционная политика канцлера Германии привела к разобщению Европы, — заявил премьер министр...

Дальше он не слушал, он смеялся до шума, до звона в ушах.

На экране телевизора мелькали кадры с яростно жестикулирующей Меркель. Виталий закричал, задрал голову к потолку:

— А-а-а-а!.. Хайль Гитлер! — И снова смеялся, пока не рухнул вниз головой в таз с водой.

И там он смеялся — бурлила, выплескиваясь на стол и на пол вода. Пузырилась, пенилась, хохотала...

А потом закипела.

Комната 29

Под столом, или Портрет чудовища

Гриша — старожил общаги. «Бессмертный обитатель уцелевшего крыла», — называл себя он. Если Гриша не пил, значит болел после запоя, отходил минимум неделю. Это называлось у него воскрешением. Если исчезал на месяц-другой — на вахту уехал Гриша, работает. Где? Этого не знает никто, ни друзья, ни собутыльники. О прошлом Гриши известно не больше. Был в Афгане, Чечне, вроде, и Нагорный Карабах захватил. Трезвый — немногословный, а пьяного — не переговорить, не переслушать. И отделить правду от вымысла так же невозможно, как и пытаться отвязаться от Гриши. Он может закрыть комнату, а ключ спрятать, только бы ты остался с ним и дослушал его истории, которых тьма тьмущая. Он может постелить тебе на полу, несмотря на то, что у тебя через стенку удобный диван или раскладное кресло.

Гриша незлопамятный, потому как после пьяных дебошей не помнит обид, ничего не помнит. Гриша — меломан. Ему без разницы, какая музыка играет в радиоприемнике, лишь бы кроме него и его голоса в комнате еще что-то звучало, жило.

Возраст около сорока пяти. Гриша никогда не отмечает свой день рождения. Он вообще никакие праздники не отмечает.

Носит спецовки цвета хаки, солдатские ботинки, после вахты приезжает обросший и сразу бредется наголо.

И в первый же день, не дожидаясь, когда деньги придут на карточку, напивается.

Виталка-«Космос» до женитьбы — частый гость в комнатке Гриши, это его хозяин, затарившись пятью бутылками водки и пакетом сосательных конфет «Барбарис», не выпускал до шести утра, пытая байками из прошлой, военной жизни.

Виталик водку не пьет, Гриша не пьет пиво. После такой ночи у пленника две недели болел язык, расцарапанный барбарисками, и долго не выходила из головы страшная история встречи молодого Гриши с чудовищем.

Самого Гришу некоторые женщины, знающие близко, называют чудовищем.

Одно время по общежитию ходил слух, якобы Гриша под водку пытался закусить девицей, которую привел на ночь. Еще говорили, что Галю из 33-й комнаты пытался изнасиловать. Только Галя продолжает общаться с Гришей как ни в чем не бывало. И «закуску» целехонькую, слегка потрепанную, неряшливую, пару раз видели выходящей из комнаты 29.

Гриша признается: женщина ему нужна время от времени, не более того. Известно, что он платит алименты, не всегда вовремя, и тогда появляются еще одни гости — из службы судебных приставов.

Что за дети? Откуда? Где?.. В общежитии этими вопросами никто не задается, а Гриша по пьяни о детях не заикается. Говорит лишь, что не переносит запах детей, а еще больше терпеть не может запах женщины в комнате.

— Как почувствую, так водка в рот не лезет.

Второй человек, кому рассказал Гриша о страшной встрече, обитатель комнаты 6 на 4, молодой поэт и художник Илья Дубин.

Гриша переключился на него, как только к «Космосу» в комнату заселилась «костлявая фея». Илья употреблял водку, но с Гришей пить отказывался:

— Пью только в женской компании.

Гриша пробовал с ним фокус с потерянным ключом — Илья едва не вышиб дверь. Привлек лишь однажды историей про чудовище:

— Давай, творчество, я тебе чуток налью, чтоб на сухую не сидел, а ты слушай. Потом, может, нарисуешь че или сочинишь...

Илья вспомнил, как лет восемь, может, десять назад называл Гришу на «вы», а иной раз даже проскакивало «дядя»... Теперь Илье почти тридцать, и он хлопает испачканной в краске ладонью по столу и берет полную до краев рюмку.

— Если бы не дописал, хер бы ты меня уломал, — сказал и залпом влил в себя горькую. — Фу-у, — поморщился.

На закуску у Гриши как всегда сосательные конфеты.

— Есть чем запивать хоть? — покосился Илья на банку с водой тут же на столе.

— Сок березовый наливай, — пододвинул алюминиевую кружку к гостю Гриша.

Гриша любит рыбачить и просто бродить по берегу Ангары в летнее время. У него всегда в морозилке пакет замороженной рыбы, ягод, а под кроватью расфасованные по кулям кедровые шишки и орехи.

— Пельмени есть, только их же варить надо, — предложил.

— Ты страшную расскажи историю, да пойду я, уже первый час ночи, где ты раньше был?..

— А ты?..

— Я-то картину дописывал, — не растерялся Илья. — «Ежевичный Христос», видел же?..

Гриша кивнул.

— Это вот это темно-синее в пупырышках и есть Христос?.. — Он сделал руками замысловатый, описательный жест. — С квадратными глазами? Или это не глаза?..

Автор кашлянул в кулак:

— Глаза, угадал.

Гриша налил водки.

— У меня тоже особый взгляд на вещи, — проямлил. — Я тебе рассказывал, как зема мой в танке живьем сгорел?..

Не давая ответить, Гриша говорил:

— А президенты все живей живых. Ну, кроме Ельцина, конечно, тот вовремя на тот свет свинтил. Там ему сейчас кипяточек-то заливают в горлышко... Горбатого еще бы по соседству, и души моих братьев успокоились бы на маленько. Хотя какой там? Надо всех живьем закопать, тех, из верхушек, кто причастен к Афгану и Чечне, без разговора закопать. Дали бы лопату — собственноручно бы, в одного, это сделал. И яму выкопал здоровенную своими вот этими руками. Да без лопаты бы вырыл. — Закончил хозяин и выпил.

— Ты же верующий?.. — Илья слегка пригубил.

— Верующий, ага, в свое чудовище, — отрыгнул Гриша. — А знаешь, почему? Потому что видел его, вот как тебя сейчас, веришь?

Илья прошептал:

— Верю, — налил сока в кружку, отпил, терпеливо ждал продолжения, чувствуя, как хмель плавно и уверенно берет над ним верх.

Гриша пробубнил что-то невнятно, залез под стол и оттуда прокричал:

— А ты свое прочти мне, перед тем как я начну!

— Да ну... — Илья покачал головой и прокричал под стол: — Я не любитель читать стихи мужчинам!

— Брось, — появилось из угла стола бордовое лицо хозяина, — мы никому не скажем, — задыхаясь, выбрался Гриша, сел на стул, положил перед собой чистый лист бумаги и карандаш.

— У меня стихи для определенной публики...

Гриша налил полные рюмки.

— Давай дернем за творчество, и ты прочти, чтоб наглядно было, за что пили, — выпалил и быстро выпил.

Илья протараторил:

Возьми меня с собой,
А нет, так застрели.
Один распятым был,
И он тебя любил...
И кто его убил?

Выпил, громко поставил рюмку.

— Вот.

— Так? И что? — развел руками Гриша. — Я что-то не понял, это был стих?..

Илья цокнул:

— Ладно, — промочил горло соком, прокашлялся. — Только одно, и никому не скажем.

Гриша ударил себя по горлу ребром ладони.

— Могила.

Илья смотрел в ночь за окном, читал:

Пули достаем из голов
Для вас.
В нас стреляют
В который раз.
Снова пехота,
И снова в бой.
Жрите все гильзы,
Всю нашу боль.
Мамкины слёзы,
Польнь, меня...
Зной не сокроет,
Укроет земля.
Письма не знают,
Кому, куда...
И без ответов.
Война.

Поэт замолчал, в тишине Гриша громко икнул, поднялся, хлопнул в ладоши.

— Вот да, — сказал и добавил: — Это ты написал?..

Нагнулся над Ильей, обнял за шею. Илья отстранился:

— Мой дед написал, а что, все понятно?

Икнув в ответ, Гриша вернулся за стол.

— Как там?.. Пули из голов для мам... жрите, паскуды, меня, а мать не отдам?..

— Почти так, — хмыкнул автор, развернул конфету. — Твоя очередь.

— Страсти на ночь, как бабка моя говорила, — ссаться под утро. — Гриша казался на удивление трезвым. Илья поэтому спросил:

— Ты там под столом чего делал, градус сгонял?

Гриша показал пальцем на лист:

— Фоторобот с тобой составим. Ты же художник.

— Чей фоторобот? — Илья подавился барбариской.

— Чудовища, епта, — усмехнулся с довольной миной Гриша. — Запечатлеть его на всю оставшуюся жизнь. Вдруг больше не встречу. А так портрет будет.

Выпил кружку березового сока Илья, прокашлялся.

— Под руку как вовремя сказал, — прошипел: — Сосалку целиком проглотил.

— Водочкой давай смажь горло, — посоветовал со знанием дела Гриша и пододвинул ловко бумагу с карандашом к художнику.

На этот раз Илья выпил все и не запил, щелкнул костяшками пальцев, взял карандаш, скомандовал:

— Начинай.

Гриша проглотил икоту.

— Как сейчас помню, год девяносто седьмой, весна, Дудаев мертв, Ельцин сказал «война окончилась», Лебедь подписал соглашения Хасавюртовские, все и все в шоколаде, хотя всем и вся известно, что ни черта еще не конец. Мы пьем полгода, не просыхая, на хате у Витьки Кабысдоха из парашютно-десантного. Я думал, это фамилия такая, потом узнал, что кличка армейская.

— Кабысдох, — повторил, пробуя на вкус и звук, Илья. — Запомню...

— Запоминай, дядя Гриша еще не таким удивит, — поднял рюмку, не чокаясь, выпил, забросил в рот конфету. — Дело было примерно часов так за полночь. Один остался на кухне за столом, сижу примерно вот так на твоём месте, слева стена с плакатом-календарем. Природа какая-то, водопад там.

Вся честная компания давно в отрубке. Кто где дрыхнет, я самый стойкий из всех, наливаю себе стакан, самогон пили. И тут прямо из стены, перешагивая через стол, через все бутылки, тарелки, закуски — Оно. Выходит, ага, как будто так и надо и должно быть. Фигурой человеческой, волосатый весь, до потолка вышиной, это под два метра, и садится так на корточки рядом со мной. А от его шерсти запах — не вонь, нет, запах, и такой знакомый. Шерсть иссиня-черная, но на голове и клочками по груди седые волосы, — уточняет Гриша, подливая в рюмки. — Староват, понятно дело.

Илья делает быстрый набросок снежного человека.

Гриша добавляет:

— Сплошь волосы, от макушки и до конца, только лицо чистое, совсем без волос, белоснежное. Глаза голубые врезались в мозг и сердце. И голос, вроде, и страшный, и как бы знакомый, не понять — женский, вроде, и не женский. Говорит: «Не перестанешь пить, Гриша, с собой забери». Меня от страха заколотило, я, как огурчик, трезвый махом стал. Думаю, перекреститься надо, а рука не поднимается, ни правая, никакая.

Карандашные глаза у чудовища после пары штрихов выглядели настоящими.

— Похоже?

Гриша сглотнул:

— Копия, — и исчез под столом. — Не перестану пить, с собой, значит, ага, меня заберет. — Гриша вылез с коробкой цветных карандашей. — Я клянусь, после этого случая три года в рот ни капли не брал.

Илья вытащил остро наточенный карандаш. Глаза чудовища наполнились цветом, голубой лазурью, заблестели слезами.

— Нос, как у меня, — продолжал Гриша.

— Такой же кривой?

— Это хрящ выпирает, наследственное от бати, — пробурчал, словно оправдываясь. — А губы побольше моих, толстые.

С человеческим лицом чудовище смотрелось уже не так пугающе.

— Поскуластей сделай. И брови, брови у него тоньше...

— С чего решил, что это он? — вопрос Ильи застал врасплох. Гриша привстал, нагнулся к гостю и тихо почти на ухо сказал:

— Вот. Вот и я думаю, что это не совсем он, — и вернулся на табурет.

Илья сделал тонкими линии бровей. Раскрыл губы, казалось, чудовище хочет что-то сказать.

— Точно, ни ушей, ни рогов не было? Может, хвост?

Гриша замахал руками:

— Нет, нет, нет. Ты че думаешь, допился до чертиков?! Не черт это был!

— Кто тогда? — Последние черточки, завитушки, кляксы, и готовый фоторобот чудовища в руках заказчика-очевидца, у которого нет слов, вместо них он выливает остатки водки в рюмку художника.

— Давно надо было тебя попросить его нарисовать, — в голосе дребезжание. —

Мне он часто снится, Оно. Глаза эти голубые, слова... Просыпаюсь, но не избавляюсь от всего этого. Оно поселилось во мне и живет с того самого девяносто седьмого. Иногда я улавливаю запах и начинаю искать чудовище. Думаю, может, оно скрывается в ком-то или вот-вот выглянет из какой-нибудь стены... А эти глаза, если увижу подобные, мурашки по телу. Я долго не мог переносить людей с голубыми глазами, боялся. Боялся, а меня к ним тянуло не по-человечески...

— Хорошо у меня не голубые, — пошутил Илья. — Храни тогда рисунок как зеницу ока, — зевнул широко, встал.

— Это точно, я даже знаю одно местечко, — Гриша снова начал пьянеть, будто, получив что хотел, организм вновь позволил себе расслабиться. — Может, еще по сто?

— Главное, не давай ему имя, — сказал в дверях Илья, — потом убивать труднее...

Закрылась дверь, Гриша в пустоту прошептал:

— Умерли те, кого хотелось убить.

Из-под стола вытащил ящик, из ящика альбом с фотографиями.

— Папа, мама, я, — кривя голосом, пропел, — недружная семья.

Нашел нужное фото, на снимке отец и мать, в пустой кармашек рядом с родителями аккуратно вложил рисунок чудовища.

Мать смотрела на сына печально, шурясь от солнца или вспышки. Нос отца фирменной загогулиной выпирал из фотографии.

— Я художнику не сказал, что запах — это запах из детства. Он сам еще недалеко от детства ушел. Еще не разобрался, как оно для него пахнет. Чем?.. Про мамины глаза не помню, вроде, не проболтался. Он меня спрашивает, а что пьешь так много, опять встретиться с чудовищем хочешь?.. Дурак, а ведь почти рассекретил меня. И про пол, когда поинтересовался, я подумал, а дуб совсем не дуб. Весь хмель с меня как рукой... В дверях же эта фраза его аж подкосила, ну, та, что про имя... Да, имя, — выдохнул Григорий и щелкнул отца по носу. — Портрет есть, и неплохой, я скажу, портрет. Почти что живая копия, а не портрет. Осталось одно, последнее...

Гриша замолчал. Чудовище смотрело на него с бумажного листа и вдруг подмигнуло правым глазом.

Гриша захлопнул альбом.

— Просто хочется почувствовать этот запах. Снова. Еще раз. Больше ничего. Маленько вдохнуть. Совсем чуточку...

Слезы закапали на старую обложку, схватив альбом, Гриша залез под стол.

Иногда там пахло прошлым. Под столом.

В детстве за это ему влетало от отца, а мама пугала, что Гриша больше не вырастет, если будет продолжать там играть. Гриша не слушался. Гриша рос.

И вырос.

Но иногда, как сегодня, как сейчас, Грише кажется, что из-под стола он так и не выбрался.

Комната 33

Губа в разрезе

Нагадала старая цыганка, что Галя никогда не наденет свадебного платья. Девочка толком и не поняла, что говорила горбатая провидица, мать на каждое предсказание слишком бурно и болезненно реагировала, периодически шлепая дочь по спине и по шее.

Галя терпеливо выносила удары судьбы, даже когда мать попала по уху, сорвав сережку, и в голове зазвенело, как на перемене в школе, она не пригнулась. Не шелохнулась. А разорванная мочка с тех пор кровоточила. Уже взрослая, Галина с

предсказанным ребенком прикладывала кусок ваты к окровавленному уху и возвращалась в дождливый вечер детства, когда под тиканье кухонных часов, окутанная парами собачьего варева, она с онемевшим сердцем слушала цыганские наставления.

— Будет один ребенок. Мальчик, — голос горбуни вкрадчиво тих. — Если правильно все сделаешь, когда придет время.

Девочка любит разноцветными перстнями на костлявых обезьяньих пальцах. Цыганка перебирает черными от старости и нюхательного табака пальцами четки, прячет лицо в пестрый платок.

— Чтоб он лег с ней, — обращается она к Галиной матери, — надо украсть его исподнее. И лучше если оно будет нестираное. Понимаешь?

Мать кивает. Понимает. Дочь пугается слова «исподнее», вжимается в табурет, кажется, что-то таинственное прячется в этом исподнем, темное, неживое...

Галя потом часто, закрывая глаза, будет видеть, как шипящее исподнее выползает из-под кровати и глядит на нее злобными, желтыми глазами без зрачков. Волосатое, дурно пахнущее...

— В церковь пусть не ходит, пока сыну двадцать не исполнится, — наказывала цыганка шепотом, косясь на календарь с Владимирской Богоматерью. — У дочери почему губа заячья, знаешь?

Мать, конечно, не знала.

— Это порча. На твою прабабку еще сделана, за то, что семью разбила. Мужа увела и на себе женила. А в той семье дети сильно болели. На весь твой женский род такое уродство теперь. По наследству и мальчикам дефект может передаваться. Если хочешь, чтобы у внука ни заячья губа, ни волчья пасть не вылезли, сделай, как я скажу.

Галя боится прикасаться к губам. Во сне ей снова и снова снится толстая женщина в белом халате и с красными от крови руками. Эти руки тянутся к ней, закрывают лицо, открывают рот:

— Шире! Еще шире, — кричит в ухо толстуха. — Еще!

И Галя видит себя со стороны с разорванным от уха до уха ртом.

— Это не рот, это пасть! — слышит приговор.

Душа возвращается в тело. Галя захлебывается слезами от щемящего осознания собственного уродства.

На вторую операцию по исправлению расщелины губы мать повезла Галю в Иркутск. Девочка увидела медсестру у входа в областную больницу, пискнула, ноги подвернулись, и она шмякнулась плашмя на бетонную дорожку. Как результат — разбитый лоб, выбитые два передних зуба и невозможность исправления дефекта. Плюс панический страх людей в белых халатах.

Вывернутая, словно наизнанку, губа заживала долго. Для маленькой Гали — вечность. Она не могла нормально жевать, чистить зубы, а каким испытанием было зевнуть или чихнуть, не заплакав!

Галя боялась смотреться в зеркала. Кричала каждую ночь и просыпалась от кошмаров.

Мать решила — повела дочь к бабке, поселковой знаменитости. Знахарка погадала на воске, поплевала в лицо девочке и дала телефон цыганки:

— Она сильней. Она с мертвыми говорит.

Цыганке мать позвонила тем же вечером.

— Жди, как собака попросит еды, заказывай машину мне, адрес сейчас скажу.

Записав все, что надиктовала гадалка, мать вышла в сад. Там, в будке у забора, спал на цепи пес Китой с полной чашкой вчерашней похлебки.

— Знать, не скоро попросит, — решила женщина.

Утром дворняга разбудил всех диким воем.

— Есть хочет, — предположила Галя.

Сказала она это едва разборчиво, да и мать не пыталась разбирать невнятное мычание дочери, догадывалась приблизительно, о чем та могла говорить, и молча кивала или говорила «ага», «ну-ну».

Ближе к обеду мать заглянула в собачью миску и взвизгнула.

В бульоне заплывла коркой жира дохлая крыса.

Поставив вариться куриные лапки для собаки, мать набрала номер такси.

— С губой девочке помогу, — цыганка смотрит левым, затянутым белой катарактой, глазом на Галю, и Галя чувствует, как по спине к ногам бегут щекотно горячие катышки пота.

— Слушай внимательно сейчас, мать. Пусть она одна ходит на могилу к деду, ты не ходи. Там, где крест встречается с землей, спит змейка медянка. Не бойся за дочь, змея не укусит, а дочь должна откусить змее хвост и помазать губы кровью змеиной. И не просто помазать, а так, чтоб рот исчез в крови и внутренностях змеи.

Галя слышит все будто сквозь воду, слова булькают, кипят, точно в кастрюле с собачьей едой. Она задремала прямо тут, на кухонном табурете, погрузившись в жаркий и липкий пар от куриных ног, которые тархтели в кастрюле, царапали по нержавеющей когтями, пытаясь выбраться из кипящего ада. И одной лапе от самой резвой и безбашенной курицы это удалось. Она выскочила, ошпаренная, опрокинув крышку, прямоком, будто видела, вцепилась в губы Гале.

— Открой свою пасть, пасть открой, — кудахтало в кастрюле. Галя закричала и слетела на пол. Тут же получив затрещину от матери.

— Пойди, помешай, давай, вон как булькает, — рывкнула на дочь и спокойней сказала гадалке: — По ночам не спит толком, вот днем и кемарит...

Горбунья хрипло сплюнула в платок, поднялась.

— Уйдут кошмары, как змеиной кровью помажется, — снова покосилась на календарь с Божьей Матерью. — Посмотри только, чтоб праздника никакого церковного не было, и посылай до могилы деда.

Задыхаясь от пара, Галя вертела ложкой густое варево, а потом увидела в кастрюле вместо птичьих ножек губы человеческие — распухшие, разваренные, кроваво-фиолетовые...

— Мои губы, — услышала свой громкий, отчетливый голос в голове. — Они сварятся, ты их съешь, и у тебя вырастут две очаровательные губы. Бантиком, как у той американской актрисы.

Галя выпрямилась, хихикнула, она видела себя с новыми губами. Втайне от матери она красит их помадой морковного цвета, а на месте, где сейчас рана, — черной кляксой родинка.

— В точности как у звезды! — следом за голосом закричала Галя, обожгла пальцы паром и потеряла ложку. Алюминиевый прибор мгновенно скрылся в пупырышках слезшей с костей кожи. А ошметки мяса, заметила Галя, так сильно похожи на ее искаленную губу.

Изменять, преображать, так она это называла, губы знаменитостей и простых людей в журналах и газетах Галя начала с начальной школы. Нужно всего лишь провести пару линий красным фломастером от левого уголка губы к правой ноздре — и готово. Частичка Гали теперь в Мэрилин Монро, и у президента России такая же губа, у известного боксера и победительницы городского конкурса чтецов...

Вот и та самая актриса с родинкой и рассеченной губой смотрит на Галю из глянцевого журнала и кажется ей ближе, роднее... Девочка проводит по исправленным губам знаменитости, шепчет:

— Нас таких много. Очень много...

На могилу деда мать собрала дочь наутро после посещения цыганки. Галя выслушала все, что ей предстояло сделать, кивала и полная уверенности отправилась на кладбище вприпрыжку. Могилу нашла сразу и у основания железного креста побеленный камень.

— Змейка, не бойся, не кусается, — голос матери. — Возьми ее, не мешкая, и откуси хвост.

Девочка подняла камень, змея, больше похожая на дождевого червя, подняла голову. Черные капельки глаз дрожали вместе с рассеченным язычком.

— Хочу быть красивой.

Схватив змею, Галя зажмурилась и вслепую запихала почти целиком в рот. Откусила, чувствуя горячее прикосновение крови змеи на губах и в горле. Приоткрыла глаза, в ладонях покойно лежала крохотная головка с черными глазками. Страхнув ее, девочка яростно принялась втирать в себя змеиные внутренности.

— Красивой, красивой всех, красивой, — бурчала, глотая горькую слюну. Губы пульсировали, преображались...

Галя видела, как они исправляются, пропитанные кровью змеи... Она вытирает рот — и вот они, новые губы бантиком, и ни следа от уродства.

Бежала до дома, задышавшись от смеха, было приятно улыбаться, кривляться, высовывать язык и широко разевать рот...

— Получилось! — закричала с порога матери. Женщина по привычке кивнула, не разобрав. Дочь с измазанным, будто в шоколадной пасте, лицом, неестественно перекошенным ртом, демонстративно подставляла матери то одну, то другую щеку.

— Что?! — не понимала женщина. — Ты как из могилы вылезла, иди умойся!

— Губа, — бубнила дочка, — губа.

— Ну, вижу, что губа, и что?! Иди давай, с кладбища обмойся...

Реальность со всей жестокой непривлекательностью взглянула на нее из зеркала. Распоротым швом вздернутая к носу губа, веснушки рыжими пятнами, потухшие, бесцветные глаза.

— Бедная змейка, — брызнула в отражение горячей водой. — Змея подколодная.

В общежитие первый раз Галю загнал дождь, второй раз мать. Она сбежала, когда пожилая родительница заставила надеть ношенные мужские плавки.

— Дура, для тебя же стараюсь, — размахивала чужим исподним мать. — Все надо сделать в точности как цыганка нагадала, тупица ты.

— Так сколько лет прошло, мать?! Лет пятнадцать?! Ты что?!

С возрастом Галя приспособилась довольно разборчиво говорить и скрывать дефект под толстым слоем тонального крема и пудры.

— Надевай трусы, кому говорю! — не унималась мать. — Знаешь, чего мне стоило украсть их у Белова Артема. Я же знаю, он тебе со школы нравится.

Семнадцатилетняя девочка растерялась:

— Не верю ушам, мама, зачем?..

— За счастьем! Для тебя, дура, стараюсь, кто еще о тебе позаботится, кроме меня?! Я все, что тогда она наворожила, записала. Все, чтоб жизнь твою несуразную более или менее обустроить... Надевай, тебе сказала!

Бросила в лицо дочери плавки Белова Артема. Его Галя видела в своих снах и ему посвящала любовные записки, которые, написав, тут же рвала. Его инициалы А.Б. вырезала обломком бритвы на внутренней стороне щиколотки, подальше от материнских глаз.

— Я что, многое прошу?... Надень, поноси денек-другой, главное — поспи эту ночь в них, а там посмотрим...

Галя подняла плавки в серо-желтую клетку, сердце, когда пальцы прикоснулись к ткани, сжалось. В горле пересохло, прикусила нижнюю губу, от волнения вспотели ладони, она отвернулась:

— Хорошо, надену.
— Давай, чтобы я видела.

Девочка подчинилась.

В нижнем белье юноши своей мечты Галя боялась шагнуть. Внизу живота будто откачали воздух, и возникшая легкость могла поднять к потолку. И выше...

Присев на корточки, Галя вцепилась в ворс ковра:

— Я сейчас улечу.

Мать закатила глаза, сложила руки в молитвенном жесте на груди:

— Святые небеса. Работает.

Мать проследила, чтобы дочь легла в ворованных плавках. И сидела в ногах на краю кровати, пока не убедилась, что Галя спит.

Она ощущала терпкий запах мужского пота, когда дочь переворачивалась и откидывала угол одеяла.

Узкое белье сковывало, резинка до крови натерла бедра... Снилось Гале, что она по пояс в земле закопана, в центре грядки с огурцами. И ей известно, кто это сделал.

— За что?! — кричит с мыслью, что сможет разбудить соседей, а мать ох как не любит выносить сор из избы.

Темнеет в саду. Нечто ползает по ногам девочки, заползает в нее.

— Черви?! — кричит.

— Исподнее, — слышно шипение из-под земли. — Самое настоящее исподнее...

Оно пронзает ее низ живота, разрывает, Галя просыпается в намокшем белье Артема Белова с твердой уверенностью, что завтра уйдет из дома.

— Даже не буду возражать, — услышав в ответ, дочь растерялась и не нашла слов, быстро захлопала глазами, а мать похлопала ее по плечу, сказала: — Я все, что должна была сделать, сделала, теперь ты давай действуй.

Галина съехала в комнату с номером 33 малосемейного общежития, прихватив с собой плавки в серо-желтую клетку.

А на ежегодном церковном календаре у Богоматери топорщилась заячья губа.

— У черта на Куличках, — звала свое местожительства Галя и поясняла: — на самом конце города в окружение железных путей стоит двухэтажное здание. Первый этаж забит списанным товаром с закрытого керамического завода, на втором обитают списанные обществом человеки. За всех не скажу, но некоторые точно неликвид.

В общежитии и закрепилось за девушкой прозвище «Губа». Галина не обижалась. Давая объявление о знакомстве в местную газету, подписывалась: «Губа Галина».

Сначала искала отзывчивого, доброго, с минимумом вредных привычек мужчину с целью создания семьи. После четвертой неудачной встречи с ответившим на ее письмо мужчиной объявление кардинально изменилось: *Для несчастных интимных встреч ищу мужчину, можно с инвалидностью и лицевыми дефектами (заячья губа, волчья пасть). Место для встречи имеется.*

Не каждый ответивший Галине мужчина соглашался ехать на окраину в общежитие. В большинстве это были инвалиды с ДЦП и колясочники. Редкие смельчаки с вполне сносной внешностью (один из двадцати согласно подсчетам девушки), без лишних слов и подарков, выполняли по-быстрому свои обговоренные еще по телефону или в переписке обязательства, поспешно покидали комнату 33 и никогда не перезванивали.

С появлением интернета стало проще находить партнеров, но к этому времени у Галины уже был сын-первоклассник.

Маленький Миша не знал, кто его отец, впрочем, и Галя не знала. Бабушка Миши верила, что это — Белов Артем, осеменивший дочь с помощью украденных плавков и

цыганского наговора. Она и настояла, чтобы в свидетельстве о рождении отчество у внука было Артемович. Галя не спорила. Исподнее «любви всей жизни» до сих пор припрятано у нее на нижней полке бельевого шкафа.

Пока сын рос в селе (семьдесят километров от города) у бабушки, Галя смело приводила утешителей в комнату и даже забывала запирать дверь.

В общежитие Миша переехал в семь лет, перед самой школой.

— Я буду достойной матерью, — поклялась женщина, стоя перед окном. Поклялась темнеющим небом, солнцем, что спряталось за черной крышей, поклялась криворуким тополем, ветками, упирающимися в раму, куском разбитого асфальта...

Всем, что попало в эту минуту на глаза, Галя поклялась.

— И никаких связей с мужчинами, — обещала мутной луне, замелькавшей перед глазами. — Не на глазах сына.

Миша проснулся в раскладном кресле, потянулся, спросил:

— Ты меня звала?

Галя сидела спиной к нему, красила ногти, ответила:

— Ты за чтением правда уснул или обдурить решил?.. Книжку открыл, а сам дрыхнуть?..

Сын сощурился:

— Да не люблю я эти буквы.

У Гали завибрировал, пропиликал смартфон. Пришла эсэмэска, приятными воспоминаниями дрожь пробежала от живота по ногам. Галя ощутила ту же легкость, как будто снова надела ворованные плавки.

— Телефон, — соскочил мальчик к матери и схватил аппарат со стола раньше нее.

— Сколько могу говорить, чтоб не трогал без разрешения, — замахнулась мать. — Положил быстро на место.

Сын всхлипнул:

— Посмотреть хотел просто...

— В книгу лучше посмотри.

Смартфон вернулся на стол. Миша обиженно надулся, отвернулся к окну.

Сообщение с сайта мобильных знакомств «ЧпОк», заметила Галя и поспешно скрыла.

— Двойки сплошные и неуды за поведение, еще чего-то хочет, — возмущалась громко. — Третий класс, начальная школа! А в старших что будет?! Пиво и наркотики?!

— Тебе-то что?.. — пробурчал мальчик. — Снова заставишь в коридоре сидеть.

Галя сделала вид, что не услышала:

— Подуй лучше маме, чтоб лак быстрее засох. Дам, так уж и быть, поиграть полчаса на телефоне.

Миша попятился спиной к матери, потом развернулся, сел на корточки и принялся дуть на длинные кроваво-красные ногти:

— Это же не твои...

— Нравятся?.. — поиграла костлявыми пальцами, как по клавишам, перед носом сына. — Приклеила накладные, в киоске продаются, копейки стоят...

— Страшные, как у ведьмы.

— Много ты понимаешь. В математике лучше б разбирался, а не в ногтях.

— Все, — дунул в последний раз сын, — давай телефон, — протянул ладошку.

В кармане халата просигналила новая эсэмэска.

— Сказала же, дам, — прочла сообщение. — Только давай в коридоре, сейчас ко мне гость придет через пятнадцать минут.

Сдвинув брови, сын хмуро, исподлобья, взглянул на мать:

— Опять?!

Она обняла его осторожно, чтоб не повредить ногтей, пообещала:

- Я тебе телефон с зарплаты подарю.
- Поклянись.
- Клянусь, — поцеловала в макушку.
- Мной поклянись.
- Женщина отпрянула:
- Сказала же. Клянусь всем.
- Миша кивнул:
- Всем, значит, и мной, — и добавил: — а если дядя Гриша пьяный на лавке спит?
- Не спит, и если цепляться будет с вопросами, пошли его куда подальше.
- Не его собачье дело.
- Молодчина.

Галя всегда успевала выпроводить сына за несколько минут до появления гостя. Миша садился на лавку у окна и провожал незнакомцев презрительным взглядом из-под бровей.

— Ненавижу, — шевелил губами, — убил бы!

Чаще всего смотрел в темноту, на одинокое светлое пятно от фонаря. В пятне света изредка возникали и исчезали человеческие фигуры, собаки...

Прислушивался Миша к звукам общежития — громче всех в крыле был дядя Гриша, у него без умолку работало радио. Играл в смартфон без энтузиазма, отвлекаясь на дверь с номером 33 и испуганно ожидая появления приставучего дяди Гриши. Проигрывал, злился на мать, на себя, на гостя... Гости были всегда разные, но все будто на одно лицо. Миша не смотрел им в глаза. Чтобы не запомнить. Так они скорей будут уходить из его жизни, из их жизни, исчезать подобно силуэтам в свете фонаря...

Иногда прогуливался по коридору, спускался на первый этаж, где все двери закрыты, а местами из стен и на полу сквозь старый линолеум растет трава.

Он представлял себя путешественником, открывателем потерянных земель, воином, защитником всех живущих, спасителем...

Полчаса, бывало, затягивались еще на полчаса. Тогда Миша подкрадывался к закрытой на ключ двери и скулил, мяукал, рычал...

Подумывал бросить в комнату зажженную спичку, поджечь что-нибудь и выкурить незваного гостя, но никак не мог придумать, как поступить с мамой.

Вспоминал, бабушка рассказывала, как еще до его рождения прочитала специальную молитву над огнем, и этот огонь изжег все недостатки у Миши, еще не родившегося...

Вспоминал, как у мамы кровь пошла из уха, и подумал, что теперь мама умрет, и проревел без остановки весь день, пока не уснул.

Вспоминал сон, он видел его много раз: из ямы посреди комнаты выползают огромные крысы в человеческий рост. А Миша с мамой кушают за кухонным столом, и чудовища окружают их, первой откусывают голову маме. Миша вместо крика смеется, тогда и ему откусывает голову гигантская крыса, а он все равно смеется, наблюдая, как безголовые тела продолжают есть...

— А без головы можно жить? — интересовался у бабушки.

— Мать твоя живет же как-то.

Подержанный телефон «Nokia» появился у Миши через неделю, а на следующий день он снова бродил по коридорам общежития. В этот раз Галя пообещала сыну роликовые коньки.

В пятом классе, когда у Миши появился планшет с велосипедом, на парте, за которой сидел на сдвоенных уроках русского языка и литературы, кто-то нацарапал большими буквами: *МИША ГУБА СПИТ С МАТЕРЬЮ.*

— Я сплю на кресле, — оправдываясь, прошептал мальчик себе под нос. — Мама спит на диване.

Потом кто-то окликнул его в школьном дворе, громко, во все горло:

— Эй, Губа! Есть полтинник?!

— Губа, — подхватило эхо и разнесло во все стороны.

— Губа, — кричали вслед девчонки-первоклашки. — Губа, — поддерживали старшекласники...

Миша смотрел в зеркало и ничего необыкновенного в своих губах не находил.

— Это из-за тебя меня так дразнят! — выкрикнул матери в лицо, как поставил диагноз, сын на ее просьбу сходить погулять полчасика: — Это у тебя губа уродливая! Трусиха! Бабуля говорила, что ты сама виновата, доктора испугалась! Ты во всем виновата! Ты! Ты-Ы!

Галя захлопала накладными ресницами:

— Что?.. Что ты такое говоришь?..

— И гости все твои уроды! Уроды! Все на одно лицо! С такими же пастями!

— Шире! Еще шире! — закричало в голове, Галя испуганно обернулась. Голос был реален до звона в ушах.

Увидела огромную женщину в белом халате, с окровавленными руками, она стояла перед Галей и кричала, и тянулась пальцами-сосисками к ее рту:

— Это не рот, это пасть!

И Галя ударила, залепила пощечину, оттолкнула:

— Убирайся! На х..й пошла! Проваливай!

Галю пихнули в ответ. Она стукнулась об угол шкафа, сверху на нее посыпались плюшевые игрушки.

— Сама пошла! — Хлопнула дверь, чешуйки побелки полетели с потолка.

— Миша?.. — заморгала, осмотрелась мать: — Миша, я на минуту из реальности выпала. Я не хотела.

Выбежала босиком в коридор, закричала в пустоту:

— Я врачиху прогоняла! Не тебя! Миша! Прошлого свое выгоняла! Миша! Не тебя!

— Вернись, чтобы сжечь все раз и навсегда, — шептал, поднимаясь на второй этаж общежития. — Я Губа, великий и ужасный.

У двери комнаты 33 достал коробок спичек, свернутую косичкой картонку. Он представлял, сидя за гаражами, как огонь выбивает стекло в их комнате. Как пламя заползает на крышу, и вот уже шифер бабахает салютом. Он слышит крик. Крики. Огонь перебирается дальше в другую комнату, и в считанные минуты все общежитие — это один большой костер. Черный дым закоптил небо, солнце исчезло...

— Всех сожгу, — дверь приоткрылась, видимо, от сквозняка. Миша шагнул в комнату, пряча орудия возмездия.

Сумрачно и тихо в комнате. Над кухонным столом зажженное бра. На электроплите еще горячая кастрюля с колбасным, его любимым, супом.

Дверцы шкафа распахнуты, на полу разбросаны плюшевые игрушки, их дарят иногда гости. Мамы нет.

На телевизоре часы: вечер, полшестого. Миша разулся. Снял куртку, попил воды, сидел на диване.

Маме звонить не станет, твердо решил. Пока собирал игрушки, отгонял мысли, что с мамой случилась беда.

Но мысли возвращались, терзали, не давали сидеть на месте.

«Она могла убежать за мной на дорогу и не увидеть машину... Новый гость мог заманить в ловушку, похитить, увести... У нее от волнения пошла из уха кровь, и “скорая” увезла в больницу, а мама без сознания и не может позвонить, сообщить...»

Миша набрал номер матери.

Абонент недоступен.

— Мама, — пропищал, не сдерживая слезы. Залез на подоконник, выглянул в форточку. Торопливо темнело. Спрыгнул, выбежал в коридор, пустая лавочка, а за окном одинокий свет фонаря.

— Да мама же! — крикнул.

Часы показывают ровно восемь. Суп остыл. И есть ни капли не хочется Мише. Он мечется по комнате, высовывается в окно, снова и снова выбегает в коридор. Звонит...

— Мама... — Миша не плачет, все слезы выплакал час назад в мамину подушку на диване.

Ему чудится, гигантские крысы где-то рядом, близко, и мама у них, быть может, уже с откушенной головой, а виноват во всем он. Он — Губа!

Задремал, увидел маму. Она лежала на операционном столе, и над ней нависла женщина необъятных размеров, схватила маму за рот и разорвала. Мама кричит. Миша кричит.

Упал с дивана, подполз к телевизору. Начало одиннадцатого.

Встал. Уверенно посмотрел на себя в зеркало над столом. Взял из ящика нож. Провел ладонью по вечно тупому лезвию, сматерился, швырнул нож назад в ящик стола.

В коробке с мамиными принадлежностями — тампонами, баночками с кремами, бритвенным станком — отыскал пачку лезвий.

Набрал в тарелку воды из чайника, под руку, справа, положил распечатанный рулон ваты, бинт. Слева — открытый тюбик йода.

Еще раз набрал маму. Выглянул за дверь.

Подошел к зеркалу — шелки заплаканных глаз, красный нос, поджал губы, закрыл глаза и, не глядя, полоснул уголком лезвия над верхней губой, задев краешек носа. Боли не было, поэтому Миша сделал еще один глубокий надрез. Горячая кровь попала в рот, потекла по подбородку, по шее. Затекла под майку...

Миша не посмотрел в зеркало, проглотил кровь и еще раз позвал маму.

Он не успел умыться, в комнату ввалилась Галя с начатой бутылкой пива. Она сразу села на табурет, чтобы не упасть, и не сразу увидела сына.

Миша бросился к ней:

— Я знал, — пробулькал и обнял мать.

— Сынок мой, — зашмыгала носом, — я всюду тебя искала, испугалась, что потеряла тебя навсегда, поэтому в церковь пошла. Попросила Богородицу вернуть тебя мне...

Кровь сына потекла по щеке матери. Тут Галя заглянула ему в лицо и протрезвела.

— Что?! Кто?! Миша! Кто это сделал?! Скорей! «Скорую»...

Она взяла лицо сына в свои руки.

— Не надо. Это я сам. Сам. Чтоб быть похожим на тебя, — говорил сын, роняя крупные алые капли в ладони матери. — Теперь и у меня такая губа. Как у тебя. Посмотри, ведь похоже?

Галя сползла с табурета на колени перед сыном. Прижала кровоточащие раны к губам. Слезы матери смешались с кровью сына.

— Прости меня, сынок.

В кармане распахнутой куртки-ветровки ожил смартфон знакомым рингтоном эсэмэс.

Миша сильнее прижался к матери, пряча лицо в ее растрепанных волосах.

— Можно я не буду больше ждать в коридоре? — Кровавая змейка скользнула по его подбородку и дальше по материной щеке и шее. — А, мам? Можно?..

Ответом пришло еще одно сообщение.

Комната 32

Внутри нуля

Будущее

Город мутантов. Здесь всегда обитали чудовища. Рождались, жили, плодились и умирали. Радиация лишь вскрыла их настоящий облик. Уродство. Обнажила истинное лицо.

Были сообщения-пророчества: «АЛЛАХ АКБАР НЕФТЬПРОМА ДЕРЖИ ВОРОТА ОТКРЫТЫМИ, СУДНЫЙ ДЕНЬ ГРЯДЕТ!». Большими буквами на трубе перед въездом в центральные ворота Комбината. И над урановым комбинатом болтались лозунги: «ЭТО ЧЕРНОБЫЛЬ №2!», «ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА — НАЧАЛО КОНЦА!», «ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ — В КАЖДЫЙ ДОМ И СЕМЬЮ!»...

Были статьи в газетах, были митинги...

Было.

Теперь, не прошло и десяти лет, город превратился в могильник. Кладбище живых мертвецов. Ночи освещены зеленым сиянием радиации. Небо умерло следом за землей и водой. Это территория огня и пепла. Урановые хвосты забрались, пролезли, как и предсказывалось, во все квартиры, впились, въелись во все, без исключения, существа...

Отходы пустили корни. Взросли. Мутировали. Поглотили. Завоевали...

Все ждали взрыва. Ядерный гриб.

А Конец пришел тихо, начался с пыли — закончился бурей.

Люди обратились не сразу, началось все с плохой крови.

Как тать, наступил Конец Света. Порошком, пылью, дыханьем драконовым...

Настоящее

Если долго и пристально смотреть на чистый белый лист, не моргая, он исчезнет. Без разницы — это лист бумаги или только что созданный вордовский документ на компьютере, — он исчезнет при условии, что вы будете смотреть на него, в него, долго. Очень, очень долго.

Проверено на себе. Лист сольется с окружением, станет невидимым. Если сильно постараться, и ты можешь исчезнуть. Некоторым так и стараться не надо, они родились невидимыми...

Взгляните вон на того бомжа, залезшего в мусорный бак, для большей части людей он человек-невидимка.

Я мечтал исчезнуть. Пропасть для всех, чтобы найти, обрести себя. Стать собой.

В руководстве для тех, кто хочет стать невидимым, первым пунктом — забудь свое имя и фамилию. Отучись отзываться. Не замечай.

Теперь, когда тебя никак не зовут, иди дальше... Удали контакты, расстанься с любимыми и нужными... Иди дальше, рви связи, взрывай мосты, пепел развей и иди дальше... Растворяйся. Исчезай.

Меня зовут Ник. Никак не зовут. Но соседям же необходимо как-то к тебе обращаться, вот я и сказал: «Зовите меня Ник».

Это место создано для тех, кто хочет потеряться, пропасть в безобразии жизни... Вычеркнуть себя из нее...

Вычеркивание порой необходимо, оно как добавление наоборот. Иногда, чтобы стало понятней, надо что-то удалить.

У невидимок многое не по-людски. Наоборот...

Ник отъехал в кресле от стола, от ноутбука, потер глаза, в окне начало весны. Серое небо в черных воронах, серый снег в черных пятнах проталин.

— Обожаю весну, — поднялся, — в грязи и цветении так легко затеряться.

«Избавься от возраста, — гласит второй пункт в руководстве по исчезновению, — стань нулем, пустотой, вечностью, бессмертием...»

На вид ему за сорок.

Неухожен — так одним словом охарактеризовала его соседка напротив, из комнаты 33. А если попросить ее описать подробнее, ответит: «Бородат, сутул, плешив, тих. В целом — пустое место», — вынесет окончательный вердикт.

— Снег тает на глазах, — запотевают на стекле слова: — Он больше трех месяцев был всем и повсюду, а теперь превращается в воду и пар. Я человек-снег.

Снежный человек — неуловимый, несуществующий. Капель, испарение...

На подоконник спикировал голубь, мужчина спрятался за пыльную занавеску по инерции, машинально.

В комнате полки, до потолка забитые книгами, старыми газетами, рабочий стол с ноутбуком обложен бумагами, на кровати и кресле раскрытые блокноты, рассыпанные карандаши, ручки...

— Вещи. Избавиться от всего, что держит в прошлом, привязывает к настоящему, тянет в будущее, — озвучил третий пункт руководства Ник, разглядывая окружающее его наследство. — Огонь — самый верный способ избавиться от...

Вернулся за стол и быстро напечатал:

«Здесь все думают об огне. Он третий собеседник в беседе двух соседей. Огонь временами говорит за них, вместо них. Разгорается. Мечты об огне теплятся в каждом обитателе этого места. Это место потерянного времени и загубленных надежд. Кладбище. Тут хоронят свои мечты неудачники. Тут обитают живые призраки. Люди, которые думают, что не живут, что умерли... Ходячие мертвецы.

Огонь положит конец всему. Огонь очищающий. Созидающий... Огонь, творящий новое... Но Фениксы, возвращенные из пепла, другие. Ничто не проходит бесследно, из пепла восстает тьма.

Зажги в себе огонь. Гори, но не сгорай. Из пепла ты не вернешься собой.

Невидимки не горят. Как человек-снег сгорит?... Только в себе, самим собой, от безумного чувства, например.

В руководстве прописано — ты не исчезнешь полностью, пока будешь чувствовать.

Я никого не люблю! Писал на обоях комнаты. Писал мелкими, едва различимыми буквами, писал огромными — Я НИКОГО НЕ ЛЮБЛЮ!

Любовь приходила во сне.

Сны, вот с чем надо бороться, согласно руководству об исчезновении. Они делают тебя видимым. Выдают в тебе человека живого, мыслящего, желающего...

Надежда на огонь».

Голубь настырно пялился в окно, настойчиво тарабаня в раму.

В начале зимы Ник пожалел серую грязную птицу, высыпал хлебные крошки замерзшему голубю. И четвертый месяц не может избавиться от пернатого чудовища. Раньше солнца начинает голубь утреннюю долбежку, не получив требуемого пайка, к загаженному подоконнику добавляет новую порцию помета. Днем голубь заявляется с приятелями. Они могут до вечера вести протяжные беседы, периодически постукивая в окно. Теплой ночью попрошайка ночует тут же, набирается сил, чтобы в начале пятого утра снова броситься в атаку.

Первые дни Ника забавляло, как он борется с приставучей птицей, прогоняет газетой, высовываясь в форточку, грозит кулаком, стучит по стеклу.

Голубь раз клюнул в ладонь до крови, и с первой кровью началась война.

Гриша, сосед по этажу, посоветовал насыпать стиральный порошок на

подоконник — не помогло. Малоэффективен был и уксус, и нашатырь. Голубь, подпитываясь человеческим сопротивлением, — жирнел, становясь непробиваемо-бронированным.

— Пока не исчезну, так и будешь мучить меня?! — спросил Ник голубя, подкатывая к окну в кресле. — Ты меня видишь. Ты мой судья и палач.

Мужчина стукнул по стеклу, голубь стукнул в ответ. Ник поднялся, открыл форточку, впустил ветер с ароматами голубинового дерьма и комбинатовских выбросов. Весной не пахло.

— Или я, или ты. Кто первый из нас обратится в пустоту, а?..

Голубь улетел, на прощание стрельнув желто-зеленой кляксой в окно.

Прошлое (из блокнота внештатного корреспондента)

Февраль в городе страшен. Ветра при температуре минус двадцать пытаются сорвать кожу с лица, словно хотят заглянуть в тебя настоящего. Незащищенного. Слезы из глаз превращаются в хрусталики льда на щеках, и их приходится соскрести до царапин, до первой крови. А какой пейзаж — серость и чернота. Особенно здесь, на окраине, в поселке. Дома пугают своим ветхим видом. Двухэтажки с облупленной краской, с ранами свежей штукатурки, залатанными крышами. Корявые, скрюченные в болезненной агонии доски заброшенных огородов. Старые проржавевшие трамвайные пути, идущие в никуда. Одинокие столбы с оборванными проводами. Пугливые деревья, худые бродячие собаки, теням подобные люди. И над всем этим трубы Комбината. Дымящие, пылающие... трубы. Трубы-стражники, трубы-наблюдатели, трубы-вершители человеческих судеб.

Это городская окраина. Добраться сюда не так-то просто. Один автобус в час. Когда из-за износа трамвайных путей в поселок перестал ходить трамвай, жители собрали подписи с обращением к мэру и подумывали выйти на площадь перед городской администрацией, но прошло уже десять лет и...

Двадцать два рубля стоит дорога в ад. Ладно, не в сам ад, в его преддверье. Поселки из-за тесного соседства с Комбинатом должны были снести еще в начале шестидесятых годов. Снесли один — на месте него теперь пустырь, а три поселка оставили — забыли. Живьем похоронили. Да и куда девать людей...

Люди остались. Комбинат рос. Комбинат приближался. И однажды вдруг стало достоянием общественности, что поселки оказались в так называемой санитарной зоне, на территории которой оседают все комбинатовские выбросы.

Настоящее

Уснуть и не проснуться. С детства эта мысль живет в нем. Ворочаясь в постели, под подушкой, укрывшись с головой одеялом, в двенадцать, в двадцать пять, в тридцать семь лет... Почти невидимым. Уснуть и не проснуться.

Проснулся от привычного голубинового барабана.

Потянуло закурить. Но привычка, особенно вредная, — тормоз в процессе исчезновения.

— Разложение, — сказал первое пришедшее на ум Ник, каждое новое утро забывая по одному слову.

Он тут же записал это слово в блокнот «Исчезнувшие слова и мысли». Написал и вычеркнул. Забыл.

Разложение.

По задернутым шторам на окне мельтешила одинокая тень. Пока шумел, закипая, электрический чайник и разогревался ноутбук, Ник выглянул, противник поприветствовал, брызнув свежей порцией радости на стекло.

— Вот гад, — ответно стукнул Ник по раме, задребезжали стекла, голубь же смело прошелся по подоконнику, распушив хвост.

Щелкнул, отключился чайник. И вот Ник уже набирает полную кружку кипятка и залазит на подоконник коленями. Дымится и еще булькает вода в керамической кружке с надписью: «Все люди как люди, а я как Бог». Мужчина замер, враг косится, топчется.

— Подойди ближе, — гипнотизирует человек.

Терпение наверняка наградило бы победой, но Нику его всегда не хватало. Затекала рука, и с криком «Получай!» он выплескивает воду в птицу.

Голубь успевает исчезнуть под крышей. Мужчина стучается головой о щеколду, пораженный, с шишкой на макушке спускается в комнату.

Заваривает кофе, садится за ноутбук, и все возвращается на круги своя. Только теперь одинокая барабанная долбежка обернулась целым оркестром. Пернатые оккупанты набросились на окно, как на корку хлеба в морозное утро. Закрыв глаза, Ник видел фрагменты из «Птиц» Хичкока. Голуби стучали, царапали, пищали, рычали...

До позднего вечера не написал ни строчки в своей работе. Название — «Прозрачное завещание».

Будущее

Животные боятся людей. Новых людей с истинными лицами и желаниями. У многих слезла кожа, другие покрылись чешуей...

Уцелевшие от радиации животные бегут из города. В горах воздух не заражен и не отравлен. Люди спаслись лишь те, кто уехал. Все оставшиеся изменились. Человеческий облик остался в прошлом, как и память. Чудовища ничего не помнят. Чудовища хотят лишь одного — жрать.

Что они и делают без сна и усталости. Все, что попадает на пути, исчезает в желудках этих существ.

Птицы. Говорили, всех голубей съели китайцы. Может, и так. Только следом за голубями пропали вороны, сороки, ласточки, дятлы... Воробьи, самые стойкие, держались до первых зеленых ночей.

Прошлое (из блокнота внештатного корреспондента)

Вы, когда спускались в поселок с главного виадука, не заметили, не почувствовали, как поменялся воздух вокруг вас?... Он становится тяжелым, становится ощутимей. Его почти что можно потрогать. Воздух давит на стекла окон, оставляя зачастую на них следы, легкий налет. Подождите, еще не вечер, вечером вы даже при закрытой форточке почувствуете этот жгучий тошнотворный запах сероводорода. Он наполнит квартиру, и ни один освежитель воздуха с ним не справится. Это газовая атака. После нее у непривыкших начинает болеть голова, тошнить... Бог его знает, какие элементы из периодической таблицы Менделеева вы проглотили.

Знаете, что беременные женщины стараются выехать из поселка на время беременности?

Самые страшные, на мой взгляд, — ночные выбросы. Если днем видишь, чем дышишь, ночью же... Нас давно, негласно, город прозвал «чертовым местом». На карте нас нет, мы помечены как городская свалка. За нас никто не заступится. Нас не спасут. Потому что на свалке жизни нет. Нас не существует. Здесь, в поселке, потому и прописывают всех мертвых душ.

В ночных выбросах присутствует что-то пострашнее...

Идут слухи, что на протяжении многих лет в этих местах чего только не нарождалось...

...однажды у Полины Геннадьевны голубые подсолнухи зацвели. Потом у деда Михаила, соседа по огороду, черви дождевые с локоть длиной повылазили, их лопатой бьешь, они кровью взрываются и кричат, пищат по-человечески как-то, жуть. Про двухголового котенка, думаю, слышали?.. А про зубастых и волосатых младенцев и вовсе не стоит вспоминать.

Здесь люди меняются. Внешне это малозаметно, у кого странные наросты, прыщи, болячки, у кого волосы вдруг поседели, что уж говорить про то, что листья на деревьях посреди лета желтеют и опадают. Люди изменяются внутри — они становятся злыми. Чокнутыми психами. Все человеческое внутри них умирает. Ни любви, ни жалости, ни понимания, ни сочувствия... Все боятся. Тупеют. Деградируют. По ночам я часто слышу крики — это кричат люди, люди, которые не могут справиться с изменениями в себе и которые скоро превратятся в животных. Если бы в животных. В чудовищ. В нечто.

Настоящее

Капюшон скрывает лицо. Быстрым шагом до магазина. Черный хлеб, пачки лапши быстрого приготовления, тушенка, вода. Список покупок он знает наизусть. Никаких излишеств.

От продуктового до общежития — 355 шагов, их Ник проходит за полторы минуты. Дворами, подальше от проезжей части.

Уличное освещение, отсутствовавшее в поселке больше десяти лет, как назло, наладили год спустя после его бегства из города. Ник подумывал разбить незаметно лампы фонарей у общежития, но в освещении, кроме минусов, был плюс. Он мог обнаружить слежку раньше, чем обнаружат его.

Конечно, если возможно в этом тощем, сутулом, обросшем бомже в поношенном драповом пальто и резиновых сапогах узнать всегда ухоженного, стильного журналиста, специализирующегося на скандальных разоблачениях...

Ник позволял себе раз в месяц звонить матери и раз в полгода разговаривать с другом детства. Мать была уверена, что сын в Германии на долгосрочной работе. Друг больше слушал, чем говорил, считая, что все, что нужно сказать, рано или поздно будет сказано и услышано.

Эти побрякки и делали его все еще видимым. Почти невидимым.

Сегодня к списку продуктов был добавлен пакет отравы от крыс и мышей.

— Меньше чем за неделю умрет грызун, — пообещала продавец, заворачивая в газету стограммовый пакетик ядовитых зерен. — Сами осторожней, были случаи, не смертельные, правда, — оценивающе осмотрела покупателя повелительница хозтоваров, хмыкнула: — От детей подальше и руки мойте.

Ник старался поменьше мозолить глаза соседям. Прежде чем выйти по нужде, долго прислушивался к звукам в коридоре и шуму воды в мойке. Посуду мыл и принимал душ после полуночи. А когда все же сталкивался с жильцами, глухо здоровался и спешил в свою комнату, не поднимая глаз. Поэтому некоторые, например Галя, считали его умственно отсталым, а кто и глухонемым.

По вечерам не включал свет, только светильник у дивана. Если стучали в дверь, никогда не открывал. Его комната была напротив комнаты Гали, и ее частые гости так же часто путали левое с правым и требовали впустить, иногда угрожали и обещали жестоко надругаться...

Гриша из 29-й тоже мог долго стучать и торчать под дверью, с мольбами

поговорить за жизнь. Ник в таких ситуациях зажимал ладонями уши, ложился на диван и представлял, что исчез.

Почти всегда засыпал и проваливался в альтернативную жизнь.

Здесь он известный журналист с бешеными гонорарами и популярностью, продолжает работать в реанимированном и раскрученном городском еженедельнике «Пульс». Только издание уже областное, а он уже и не совсем журналист, а главный редактор. У него пятикомнатная квартира в спальном районе, жена, та самая модель из рекламы духов, четверо детей, собака лабрадор...

Реальность сильнее любой эфемерной альтернативы — настигала, разбивала барабанной дробью придуманный мир, вышвыривала сначала в прошлое, в тот момент, когда два человека в черном избили его у дверей редакции. Ник просыпался со вкусом крови во рту и бомбежкой в большой голове. Это голубь пробрался в нее с улицы и мстит, разнося мозг в зерна.

Усыпав весь подоконник отравой, Ник сполоснул руки над половой тряпкой у двери, с победным видом сел перед черным экраном ноутбука.

«Прострация» — слово, вычеркнутое из лексикона сегодня утром, и именно так он себя сейчас ощущал.

— Вот она, блаженная невесомость идиота, — сказал тихо. — Инфантильные маленькие победы и бессмысленное ожидание неизвестности...

Орда голубей за десять минут смела яд вместе с пометом подчистую.

Ник хлопнул в ладоши. Смело распахнул форточку. Вернулся за стол, к работе.

Тут и раздался знакомый одиночный стук по оконной раме.

Прошлое (из блокнота внештатного корреспондента)

Сумерки. В них было что-то еще. Оно мельтешило в воздухе подобно миллионам мушек и оставляло на щеках маслянично-липкий налет. Я закрыл лицо перчаткой. Возле автобусной остановки меня накрыл черный туман, видимости никакой, и спасибо простуде за заложенный нос. Режет глаза, и я вдруг понимаю, что не слышу совсем ничего. Мертвая тишина. Замолкли птицы, опустели улицы, перестали шуметь редкие машины на шоссе.

Неожиданно небо осветилось оранжевым цветом. Я взглянул вверх и в сторону — это вырвалось огромное пламя огня из трубы Комбината. Сначала из одной, потом из другой трубы, третьей. И сразу воздух наполнился жаром и гулом.

— Не хотите превратиться в чудовище?

— А вы хотите?..

Настоящее

Написал одно: *«Настало время уничтожить человека мыслящего, человека пишущего».*

Голубь, свидетель его видимого существования, не клюнувший на отраву, исчез сам по себе, не появлялся шесть суток. Зато вместо него под окном Ника стали появляться вроде бы случайные, но до боли знакомые личности.

Два дня назад долго стояла черная иномарка, потом из нее выбрался парень в спортивном костюме с шапкой на глаза. Он узнал его своим разбитым носом и вывихнутой челюстью. Серебряные печатки болтами на трех пальцах левой руки. На одном кольце выбит крест с сердцем посередине, Ник ходил около месяца с этим отпечатком на переносице.

Те же дерганые движения, прыгающая походка, нервная жестикуляция...

Они вычислили его. Нашли.

Потом он увидел молодого папашу с коляской, только вместо ребенка, в этом Ник мог поклясться, бандюган вывез на прогулку куклу. Он делал вид, что говорит по телефону, сам не отводил взгляда от общежития.

Голубь настучал. Донес.

— Огонь, — отошел в сотый раз от наглухо зашторенного окна: — Сжечь все записи. Прошрое. Настоящее.

Проверил, как делал почти каждые несколько минут, заперта ли дверь.

Дверь была закрыта на ключ и щеколду.

— Разорвать все на мелкие кусочки, — давал себе установку. — И будущее туда же, на клочки — и огню...

Посреди комнаты в алюминиевый таз покидал все, что было еще со времен внештатного корреспондента: записные книжки, ежедневники, тетради, блокноты...

— Теперь ноутбук, — курсор бьется в такт сердцу, в конце последнего предложения в его видимой жизни.

Настало время уничтожить человека мыслящего, человека пишущего.

— Вычеркнуто, — сказал и удалил сначала строку, потом весь документ, — нет больше «Прозрачного завещания». Нет будущего. Нет прошлого.

Ту самую злосчастную статью, из-за которой все началось, он написал на одном дыхании пять лет назад.

Статья вышла в понедельник на первой полосе с продолжением на второй, самым большим тиражом в тридцать тысяч экземпляров. Заголовок был такой: «Противогаз для мэра или для бабы Маши?» На фотографии к статье коллаж: мэр в противогазе на фоне дымящих труб Комбината.

В статье речь шла о загрязнениях, отходах и о протестующей старушке в противогазе. Она всего лишь хотела чистого воздуха для внука, а в четверг в конце рабочего дня в нее стреляли люди в черном из черного автомобиля.

И все это в преддверии выборов мэра и в городскую думу.

— Мы подомнем мэра перед самыми выборами. Мы поставим его на колени. На второй срок ему не избираться. Его песенка после твоей статьи будет спета, — брызгал слюной главный редактор «Пульса» и обещал поднять общественные массы и защитить в случае чего.

В следующий четверг его, внештатного корреспондента, окликнули: «Эй ты, бумагомарака!» Двое, у одного была шапка на глаза и печатка с распятым цветком розы на указательном пальце...

Потом посыпались в редакцию письма, бумажные и электронные, с угрозами в его адрес. Ночные звонки пугали тишиной. А когда в квартире, которую снимал, выбили стекла и на двери красной краской написали: «Ты покойник!», он решил исчезнуть.

Жизнь в страхе — не жизнь, — писал он в своем «Завещании». — Страх сворачивает время и кровь. Рождает чудовищ. Первое, что надо каждому вычеркнуть из своей жизни, из себя — это страх. Страх.

Начинаем с малого — не боимся завтрашнего дня, не боимся, что о нас подумают, что скажут... Не боимся не быть.

Прозрачные крупички надежды забрали голубиные последователи.

Ник даже насыпал свежих крошек в ожидании голубя.

Уж лучше он, чем они.

Но птица не появлялась.

— Это к лучшему, — говорил, очищая и форматируя жесткий диск. — Завещание меня тормозило, как и память о прошлом. Все теперь уничтожено, стерто. Вычеркнуто и забыто. Ноль. Полный и голый ноль.

В руководстве о совершенном исчезновении говорилось последним пунктом:

осознай, что ты ноль. Все твоё существование, окружение внутри и снаружи — всего лишь пустое место. Достигнув нуля. Приняв его. Став частью его. Ты достигнешь цели.

— Почувствуй ноль в себе, — закрыл Ник глаза, — больше никаких альтернативных жизней. Никаких снов. Минимум мыслей и слов. Минимум потребностей. Ноль. Я ноль. Ноль в нуле.

Сжечь все, что написал за свою жизнь, Ник в комнате не мог, поэтому припас канистру с разбавителем. Художник из 30-й комнаты как-то сказал, что берет его из бочки, которыми забит первый этаж.

«Это просроченный товар керамического завода», — подслушал разговор Ник и той же ночью спустился вниз с трехлитровой канистрой и воронкой. Пахло содержимое жутко и резало до слез глаза.

Художник говорил, что разъедает смесь не только краску, но и кожу на пальцах моментально.

— То, что надо, — тонкая струя потекла из канистры в таз на блокнот с надписью «Прошлое». Зашипела и расплзлась на глазах обложка, надулось желтыми пузырями, задымилось будущее и настоящее...

Прошлое, настоящее и будущее растворялось без сопротивления и борьбы... Исчезало.

Ник отвернулся, вновь закрыл глаза. Внутри себя, внутри нуля разгорелось голубое пламя. Он ощутил жар, капли пота побежали по вискам, под невымытой шапкой волос, скатились по спине.

Огонь, долгожданный огонь вспыхнул в нем.

— Невидимки не горят.

В комнате стало невозможно дышать, Ник проскользнул к окну, выглянул, глаза щипало, сквозь радужную пленку слез разглядел пустой квадрат асфальта, куски снежных проталин. Открыл форточку. А когда обернулся, увидел снег. Он стоял в окружении белых крошек, они липли к нему, проникали под кожу.

— Да, да, лепите из меня снежного человека. Сделайте снежным. Сделайте невидимым.

Он раскрыл объятия.

За закрытыми веками бушевала огненно-снежная пурга.

Безвременье

Идет дождь, и человек-снег приспособливается. Теперь он человек-дождь. Когда первые капли застучали в середине ночи по подоконнику, он подскочил к окну. Выглянул в темноту. Блестящие ветки тополя так похожи на птичьи крылья, на птичьи лапки...

Вычеркнутые из лексикона слова приходили во сне. Наверняка он повторял их вслух, может, даже громко. Криком.

Как в детстве. Стоп. ~~Детство~~. Память.

Избавиться от себя не так-то просто. Забыть все невозможно, через лоботомию разве что, не иначе.

В зеркале он все еще видит себя. Отражение невидимки.

Безразличие — действующий принцип невидимости. Стань безразличным ко всему, и для всех ты исчезнешь.

Думай о нуле.

Обои изо дня в день покрывались нулями. Так легче растворяться.

Вышел как-то в коридор, и соседка прошла мимо него, не заметив, чуть ли не сквозь. Она не то чтобы не поздоровалась, не взглянула, глазом не повела.

И Гриша больше не донимал своими стуками и предложениями поговорить за жизнь...

— Я исчезаю, — говорил и реже подходил к окну.

Ночью свет фар скользил по потолку, и он его совсем не волновал.

Порой, чтобы начать чувствовать жизнь, надо от нее отказаться. Надо раствориться. Обесцениться. Пропасть. Вычеркнуть.

В одно утро по раме постучали. Сердце невидимки исчезло. Стук повторился, и невидимка на цыпочках подошел к шторе.

Стук. Тук и еще один.

Это сердце стучит по оконной раме, не более...

Отодвинул край ткани. Синичка вспорхнула желтой вспышкой перед глазами.

По тротуару катил коляску улыбочивый папаша с ребенком на руках.

Невидимка попятился, лег на диван, сполз на пол. В белом потолке можно увидеть множество интересных вещей. В каждой трещинке бурлит жизнь. В каждом кусочке побелки, паутине...

Думал о тишине. Раньше отвлекали тикающие часы, он вынул батарейку, и стрелки теперь всегда смотрят в небо.

Шум соседей, прохожих, машин стал морем. Сейчас штиль. Не слышно чаек. Ни ветерка. Движение песка, лишь оно постоянно и вечно. Песок жизни. Времени песок.

0Нуль000НОЛЬ.00000нольнольнольнуль0ноль0000ооноль00.000

Приснились похороны. Его похороны. Пустой гроб. Недоумевающие лица.

— Где тело?

На памятнике ни буквы. Притягивающая бесконечность серого мрамора.

— Он не умер. Он стал частью Вечности. Он теперь рядом с нами и в каждом из нас...

Невидимка сильно похудел. Есть с каждым днем хотелось все меньше.

Зато воду поглощал трехлитровыми баллонами. Шесть литров выпивал за утро.

Пока солнце слепило в окно.

Вода растворяла, чувствовал... С каждой каплей частичка тела смывалась, становилась прозрачной...

Да здравствует человек невидимый!

Поэкспериментировал — спустился вечером на первый этаж. Побродил там. Двери в оба крыла общежития закрыты цепями, опечатаны, в коридоре бочки с вонючими жидкостями и ящики с кусками цемента...

Лицом к лицу столкнулся с мальчиком лет десяти, похоже, это сын соседки. Мальчик увлеченно комкал картонку, а когда невидимка коснулся его плеча, вздрогнул и поспешил наверх, перепрыгивая через две ступеньки, бормоча что-то про огонь.

Получилось!

Радостно закружился он, поднимая вокруг себя песок с мелким мусором. Вот и пара конфетных оберток заплясала с ним...

Хлопнула входная дверь, незнакомая женщина быстро прошла, разбив вихрь пыли. Она чихнула, а яркие фантики полетели следом...

Невидим!

Нули смотрели на него отовсюду — с книжных полок, из холодильника, таранились с обоев...

Ноль — это новая жизнь. Начало отсчета. Теперь главное — не повторить прошлых ош...

Слово «ошибка» он вычеркнул из своего лексикона месяц назад.

...погрешностей.

Невидимка не мог заснуть. Ворочался, спускался на пол, вставал, выглядывал в форточку, выходил в коридор, пил воду.

Под утро страшно потянуло писать, он искал чистый лист — не нашел. Нули. Вокруг и всюду. Нули... И на рулоне туалетной бумаги, и старых газетах...

А потом он оказался перед ноутбуком, и чистый лист с пульсирующим курсором требовал от него слов.

Хотя бы слово.

Рука зависла над клавиатурой. В нем больше не осталось слов. Вычеркнуто. Все. И *вее* тоже вычеркнуто. Ноль.

Черная метка курсора пророчила беду. Он заскрипел зубами, но крик было не удержать. Курсор стал расплзаться по белизне листа чернильной тьмой. Она потекла из экрана, покрыла густой слизью клавиатуру. Стол. Оказалась на пальцах...

Крикнуть не получилось, тошнотворная жижа брызнула в лицо, ослепила, заполнила рот.

Пустота имеет цвет. Ноль — черный.

Еще ощущая черноту внутри, поднялся, тяжелая голова, как в тот день уничтожения от паров растворителя, его два раза стошнило в таз, в котором исчезло его прошлое и будущее.

Невидимка бесстрашно распахнул шторы и форточку.

Трубы Комбината приветливо чадили, отчего небо было неприветливо серым и солнце катарактой смотрело недружелюбно.

— И тебе доброе, — сказал трубам.

Когда тебе известен финал, проще быть снисходительным, легче прощать, дарить улыбки, радоваться жизни, потому что знаешь...

Полегчало, но не от ветра в лицо, помогло осознание, что вот еще час на кофе, туалет, прочее, а там — свобода.

— Все с нуля, — прикрыл форточку.

Решил с этого утра, с нуля, он начинает возвращать вычеркнутые слова.

Сегодняшнее слово — «надежда».

Ноль

Вот и объяснение слову «счастье». Его он не успел изъять из своего словарного обихода. Но никогда не понимал, как в простое слово из семи букв может вместиться столько...

Он ерничал, говорил, что для кого-то сходить по большому после недельного запора уже счастье, а кому-то для полного счастья нужно унижить соседа или придушить кошку... Понятие счастья так многогранно...

Сейчас он нашел ему объяснение. Своему счастью.

Свобода. Вот оно. Без страха, заглушающего стук сердца, без хмурых бровей и упертого взгляда в асфальт. Счастье идти и знать, что этот мир только твой и для тебя. Все остальное лишь дополнение. Есть только ты. Ноль.

Надеяться, что посланники мэра его не вычислят и не отправят на дно Ангары. Надеяться, что урановые хвосты не так страшны и воздух в городе действительно не такой грязный. Надеяться, что мутанты — это фантастика. Надеяться...

«Не выходи из комнаты, не совершай (вычеркнуто)», — строчка из прошлого, из Бродского назойливо вертелась, пока он одевался, зашнуровывал кроссовки, возился с дверным замком.

Ноль, ноль, ноль, ноль...

Из комнаты напротив вышел мальчик с перебинтованным лицом. Невидимка взглянул на него, подмигнул. Мальчик не отреагировал, сел на лавочку у окна и растворился в телефоне.

Не выходи из комнаты...

— Ноль!

Дверь общежития хлопнула выстрелом из стартового пистолета перед забегом.

Марш!

— Ноль один, — шепнул себе.

Невидимка успел лишь перешагнуть лужу. Что-то промелькнуло над ним шумно. Что-то теплое шлепнулось на нос, потекло. Еще до того как смахнуть «послание» с неба, он услышал стук по подоконнику. Настойчивый стук, надсмехающийся...

Черный джип вырулил со двора, и Невидимка узнал эту шапку на глаза, кривую улыбку...

Голубиная печать сделала его видимым. Открытым, уязвимым, обнаженным.

Под аккомпанемент сигнала авто с визгом тормозов и канонаду пернатого возвращенца он развернулся, наступил в лужу сначала одной, потом другой ногой, побежал к спасительной двери общежития.

Потом холл в шесть шагов, шестнадцать ступенек на второй этаж и в конце двадцатиметрового коридора комната номер 32.

Он побежал. Побежал назад. В ноль.

Комната 28

Сын Щелкунчика

Во главе стола фотография в рамке перебинтована черной лентой.

Хмуро сдвинув к переносице брови, сжав губы, смотрит лицо с черно-белого снимка на ряд запечатанных бутылок водки.

— Тринадцать, — сосчитал Шнырь, испуганно покосившись на женщину в черном платке, молчаливо сидящую напротив.

— Его любимое число, что ли? — пробасил Глух, а не дождавшись ответа, уронил голову на грудь.

— Тры, — отрыгнул с другого конца стола Петрович, успевший до похорон влить в себя литровый графин самогонки, — тры и еще тры.

— Тридцать три, — сказал за Петровича сосед по столу, Пушкин. — Разливай уже, Шнырь, помянем. Салаты, вон, с колбасой кто-то заранее оформил, — мотнул головой в сторону женщины, — салфеточки разложил, вилочки...

Несмотря на то что все — одногодки из одного выпускного 8 «А» класса средней образовательной школы № 42, Шнырь считался за младшего.

— Наш меньший, — шутили друзья.

Шнырь разлил в пять рюмок водку, сел и тут же подскочил.

— Маргарину ж, — шепнул.

Шестую рюмку с куском хлеба поставил к фотографии и снова покосился на женщину. Потом осторожно пододвинул к ней ее рюмку.

— Трезвенником Рино последнее время был, — ожил Глух. — Ни капли в рот не брал.

— Помянем друга нашего стоя, давайте, — поднялся Пушкин, он как всегда руководил, тамада-заходила по крови и призванию. — Маргарин, мы тебя не забудем.

Встал Шнырь, Петровичу помог Глух. Незнакомка подняла рюмку.

Пушкин выдохнул:

— Земля тебе пухом, дорогой друг, нам тебя будет не хватать, — и залпом выпил.

Когда снова сели, Глух повторил:

— Рино, говорю, трезвенником был.

Петрович, заглатывая целиком малосольный огурец:

— Хрена ли?! Пил еще как, за милый мой, хоть оттаскивай, — ожил Петрович, прожевал и продолжил: — Мы с ним месяца три назад в «Сударушке» встретились, сперва взяли перцовки, у него, типа, простуда была, потом сообразили, скинулись на литр водяры, пошли к Чесноку, вот Чеснок в завязке был. Ему полжелудка удалили, и он как спиртное что выпьет, ссыт кровью.

Глух яростно замотал головой:

— Не, не, не, путаешь ты все. Не три месяца, а три года назад это было.

Петрович икнул, почесал плешь на макушке:

— Три года?.. Да гонишь. Пара-тройка месяцев, не больше... Он потому и это, — схватился за горло Петрович и высунул язык, — что с бодунища был и потерял себя.

Глух и Шнырь посмотрели на женщину, женщина смотрела в никуда.

— У меня такое бывает после длительного загула, — разоткровенничался Петрович. — Это хуже клинической смерти, я так скажу. Там только свет в конце тоннеля, а тут ни хрена. И если вовремя не принять грамм двести-триста, капец. Можно и не успеть руки на себя наложить, сгоришь к еб...

Пушкин живо поднялся:

— С Рино я давно не общался и не видел больше трех лет, поэтому не знаю всех подробностей, да и какая уже разница...

— Не скажи, — перебил Глух. — Мертвым не нравится, когда их зазря оговаривают, а уж алкашом когда, это никуда не годится.

Шнырь быстро разлил. Таинственная молчунья, когда он наполнял ее рюмку, всхлипнула и еще глубже спрятала в черный платок костлявые скулы.

— Я вам салата с колбасой положил, — накладывая еду в блюдце, прошептал Шнырь. Женщина в ответ шмыгнула носом.

— Тем более, когда столько не пьешь, годы ни капли в рот, а тебя все еще алкашом называют, это по себе знаю, просто крышу сносит. — Глух взял свою рюмку. — И вот еще что скажу, покончить собой на трезвую голову — это поступок. По пьяни с дури можно затянуть шутки ради шнур на шее и так по-дебильному и отшвырнуть коньки, на чистую голову же... Это, братцы, — сила.

— Он на ремне, — сказал Шнырь чуть слышно. — Не было никакого шнура, — и подцепил вилкой куст салата.

Пушкин пихнул друга под столом ногой, Шнырь покраснел и затараторил:

— Я верю в жизнь после смерти и уверен, что Рино сейчас с нами.

— Как на ремне?! На своем?! От брюк, что ли?! — поставил рюмку на стол Глух, и Петрович тут же шлепнул его звонко по лбу.

— Куда ты ставишь, мать твою!

Глух схватил испуганно рюмку, выпил.

— Ёпть, еще лучше! — замахнулся Петрович. — Ты еще давай ниже стола опусти посуду — точно в трезвенники пропишем сходу.

Непонимающе Глух посмотрел на Пушкина, развел руками.

— Так-так, — вступился Пушкин. — Ты, Петрович, не начинай свои эти ритуалы. Если на то пошло, то надо было на край стола налить умершему, если все правила собрался соблюсти. Глух с тобой сколько, лет пять точно за одним столом не сидел и твои заморочки уже не помнит.

Взгляд Глуха метался от Петровича к Пушкину, он никак не мог понять, за что получил затрещину.

Петрович крикнул, попытался дотянуться до Глуха, чтобы обнять, Глух отодвинулся:

— Сперва обоснуй.

— Да, Глух, не заводись, — Пушкин взял водку, налил ему. — Ниже стола рюмку не опускать, если поднял, то пей, назад не возвращай... Обычаи застольные, у Петровича пунктик, особенно когда до кондиции доходит.

— Так, а ремень тут при чем?! Или что, Рино все-таки на шнуре?.. — Пушкин всунул в ладонь Глуху рюмку, взял свою. — Давайте помянем, — и тише уже шепнул на ухо однокласснику: — На ремне он повесился.

Петрович демонстративно накапал водки на край стола, перекрестился.

Помянули сидя, выпили, закусывали молча.

— А мать Маргарина где? — спросил Шнырь у тишины, все посмотрели на женщину.

Никакой реакции.

— Мачеха у него, — потер лоб Глух, искоса поглядывая на Петровича. — Матери не было. Она на кладбище была, сказала, что водки и закуски оставила кому-то из общаги и что с нами не поедет, не переваривает она это место.

— Общагу не переваривает? — Шнырь обвел глазами комнату. — Конечно, он же тут это сотворил, я сам как на иголках, особенно на дверь как взгляну, мурашки по коже.

— Он что на-а-а?.. — Пушкин оглянулся на покрашенную голубой краской деревянную дверь в свежих зарубках-ранах от ножа. — Узнаю почерк Рино: любимое занятие — бросать ножи.

— На двери, ага, — ответил за Шныря Глух, — на ручке.

— Не на ручке только, — возразил Петрович, разворачиваясь вместе со стулом к двери. — Скорей, он один конец ремня, тот, что с бляшкой, просунул наверх и закрыл. Так точно не сорвется, пока никто не зайдет...

— Тогда оба конца надо закрывать, чтоб петля получилась, — изобразил наглядно в воздухе пальцем Пушкин.

— Так и удобней, — согласился Шнырь. — На ручке придется на колени вставать, ложиться, как-то изгибаться, а так почти в полный рост, колени поджал — и все.

Петрович вернулся к столу.

Глух открыл новую бутылку.

— Это у него в третий раз получилось. Два раза ремень срывался, то мешал кто...

— Получается, что он чуть ли не каждый раз, как с вахты приезжал, так вешался? Ну дела... — предположил Пушкин, опасливо посмотрев на сидящую слева.

Когда они вчетвером вернулись с похорон, она была тут, прошло почти два часа, женщина не сказала ни слова, он спросил потихонечку у каждого про гостью. Никто ничего о ней не знал.

— Третью Рино неизменно пил за любовь, — разливал Глух. — Может, и причина его ухода кроется в этом, кто знает...

Пушкин кашлянул в кулак, прочистил горло, сказал:

— Любовь — это отговорка. Сколько несчастий из-за этой любви. И ни одного счастливого. Получается, любовь даже не наказание, а самый настоящий ад. Муки и огонь. Страдания и слезы. Боль, и все ради чего?..

Он замолчал, может, в ожидании ответа, или в горле пересохло.

Шнырь решил, что тишину надо заполнить, и вставил свои три копейки:

— Вешаться из-за того, что баба не дала или бросила, это как-то не по-мужски. По-дурачки даже как-то, я вот никогда бы...

Петрович громко икнул.

Пушкин снова закашлял.

— Любовь толкает на ножи, Шнырь, или тебе просто повезло — и ты еще не любил.

Глух подал голос:

— При чем тут любовь, не врублюсь?! Маргарин что, полез в петлю из-за бабы?! Кто сказал?!

В стекло постучали. Шнырь тонко вскрикнул, вскочил:

— Второй этаж же!

Стук повторился.

Тук-тук-тудук.

— Так Рино стучал всегда, это его стук, — прошептал Шнырь, пятясь от окна.

— Да посмотри уже, занавеску отодвинь, — рявкнул Пушкин. — Рино в дверь бы постучал, если пришел.

— Птица это, голубь какой, — жевал и говорил Петрович. — Давайте за любовь выпьем, а то закипела уже водка, того гляди выкипит вся.

Шнырь нехотя шагнул к подоконнику, шурясь, как делал всегда, когда надувал воздушные шары или видел кровавую сцену в фильме, потянул на себя занавеску.

За окном никого.

— Говорю же, Маргарин, — отбросил занавеску Шнырь. — Это его позывной. — Сел и схватился за рюмку. — Может, и правда все от любви?.. Ведь как за любовь стали говорить, так и поступал...

Петрович поднял рюмку:

— Ну, за любовь с левой руки и стоя надо, но раз такое дело, можно сидя, но с левой, — выпил Петрович, занюхал хлебом. — А если честно, из-за любви дети должны быть, а не трупы.

Потревоженная занавеска в сине-желтый горох пропустила полоску света, лучи солнца превратили фотографию покойника в пылающий портал, — так подумал Пушкин, пожегся и сказал:

— Я верю, что души мертвых могут приходить и вступать в контакт с живыми.

Шнырь отодвинул стул подальше от окна.

— У меня по детству история была, — зашептал, наклоняясь к столу. — Я ночевал на даче, неделя как деда похоронили, и там часы настенные так громко тикали, спать не давали. Вдруг посреди ночи тишина гробовая и вместо часов стук такой по потолку, туп-туп. — Шнырь посмотрел на окно, сглотнул. — С потолка по стене, туп-туп, потом хлопок такой, будто кто спрыгнул и по полу теперь идет к моей кровати. Туп-туп.

— Туп! — стукнул Петрович по столу и вздрогнул вместе со всеми от грохота зазвеневших нержавеек и стекла. — Ёк макарек, пойду до туалета, однако, — поднялся Петрович, держась за ширинку. — Что-то не пошла, малой, твоя история, — поковылял он, оставив дверь нараспашку.

— Фуф, напугал, придурок, — вздохнул Шнырь.

Глух разливал. Пушкин первый заметил, как в дверном проеме мелькнула тень, и через мгновение в комнату ввалился пьяный мужик.

— Эй, эй, — Пушкин привстал, чтобы не дать незнакомцу загреметь на стол, но тот удержался на ногах, выпрямился и, раскланявшись, исчез, словно не было.

— Сосед явно, — озвучил Пушкин.

— Может, надо было налить ему помянуть? — спросил Глух и сам ответил: — Хотя он уже налит по горлышко.

Женщина встала, Шнырь следил за ней с открытым ртом. Нарезала в опустевшую тарелку колбасы, треугольником хлеб, а когда повернулась к сидящему Пушкину, он поднялся, пропустил ее к холодильнику.

Из кастрюли, что достала из тарахтящего старого ЗИЛа, выложила остатки салата, поставила в центр стола трехлитровую ополовиненную банку огурцов. Поправила занавеску, на фотокарточке пригладила черную ленточку, сдунула невидимую пыль. Села, и только тогда Шнырь закрыл рот, но выражение «что это было?» еще долго не сходило с лица.

— Все общаги похожи, — закрыл за собой дверь Петрович. — Крендель тут один, в хлам убитый, просил передать Маргарину привет. Живет напротив, говорит, у них музыкальные вкусы схожие.

— Рино музыку терпеть не мог, если че, — со знанием дела сказал Глух. — Даже «Сектор газа» не слушал по молодости, и на «Мальчишник» ему было, мягко говоря...

Петрович сел. Пушкин с облегчением отметил, что солнечный портал исчез, поднял рюмку:

— С музыкой, значит, сосед прогнал.

— А может, мы не так уж и хорошо, как думаем, знали Рино, а? — Шнырь не отводил глаз от женщины и говорил словно лишь ей: — Виделись раз в пятилетку, напивались и говорили о пустом. Кто душой его интересовался? Кто из нас хоть раз

спросил: «Маргарин, о чем ты думаешь? Мечтаешь? Чем живет твое сердце, кем занято?..» Мы и про баб его ничего не знали... У него что, последнее время не было никого, что ли? Может, он просто с нами не делился? Да и где мы все были? Кто где. Всегда так. Когда надо, никого рядом, даже друзей!.. Ты вот, Глух, про музыку говоришь, а я знаю, что Рино классику слушал.

Промычал вместо ответа Глух.

Петрович замычал следом. Пушкин пожал плечами.

Шнырь хлюпнул носом:

— Да, классику слушал, стеснялся просто, что не так поймут. — Глаза заблестели слезами: — Типа, мужикам не может нравиться скрипка и балет... Думал, что на смех поднимут, затравят... А я с ним ходил, да, на балет ходил! — Шнырь почти кричал, друзья, свесив головы, слушали с поднятыми рюмками. Женщина, казалось, исчезла, на стуле сидела лишь одежда, в которую завернулась пустота.

— На балет это он предложил пойти, позвонил и попросил, только не хотел, чтобы вы об этом знали. Особенно вы! Петрович с пошляцкими шутками, Глух, вечно недопонимающий, и ты, Пушкин, думающий только о себе. Я тоже не лучше, мне все до фени. Я, честно, и не хотел с ним идти, все думал, как бы кто из знакомых нас не увидел на балете, не подумал бы чего... Эх, мы!..

Шнырь выпил. Одинокая слеза торопливо скатилась по щеке и шлепнулась в пустую рюмку.

Выпила незнакомка. Следом Пушкин и Петрович с Глухом. Молчали.

В общежитии где-то тихо играла музыка.

— А мы ему порнуху, помню, на днюху подарили, — виновато пробасил Глух. — Я бы и не подумал никогда про балет. Там же голубцы в колготках скачут, и что в этом интересного, не пойму...

— Не порно, это точно, — хмыкнул Пушкин. — Ты, Шнырь, все вроде четко сказал, одно упустил — у нас у всех семьи, а у вас с Рино чер-те что, ни бабы, ни мужика.

Петрович расплылся в пьяно-довольной улыбке.

— Про мужика отпад шутка. Или не шутка, — отрыгнул.

— Семьи, скажешь тоже, — ответил Шнырь. — Это кто тут у нас такой семейный? Ты что ли, Пушкин?

Пушкин отвел взгляд в потолок.

— Ни для кого не секрет, что ты от любой юбки слюной истекаешь, а трижды разведенный Петрович — это у него-то семья?

— Третьего развода, мож, и не будет, — вставил Петрович. — Я пообещал закодироваться.

— Глух, а ты как? С детьми уже разрешили видеться? — Басы в голосе Шныря снизились до нуля, он ожидал атаки, отрицания, а не пассивного согласия. — Собутыльники мы, а не друзья, — оборвал речь Шнырь. Распечатал новую бутылку, налил всем.

— Что за балет был? — Пушкин поднялся.

Шнырь молчал.

— Без подвоха, Шнырь, хочу сказать пару слов в память о Рино, потому спрашиваю.

— «Щелкунчик», — ответил и добавил: — Только вот попробуй что-нибудь ляпнуть.

Пушкин поднес рюмку к фотографии друга, словно чокаясь:

— Надеюсь, там, где ты сейчас, есть балет и ты сможешь им насладиться, не стесняясь и не боясь. За Щелкунчика! Это посерьезней съеденных тобой на спор трех пачек маргарина.

— За «Щелкунчика!» — подхватил Петрович. — Мне этот зубастый с детства нравился.

— За Щелкунчика так за Щелкунчика, — пробубнил Глух.

Шнырь выпил молча.

Курить вышли на улицу, некурящий Шнырь подышать воздухом.

— Может, она его родственница какая? — строили догадки. — Невеста, соседка или знакомая хорошая?..

Выкурив по две сигареты, решили, что женщина немая, и хорошо, что есть кому после поминок убрать со стола.

Комната встретила мужчин тем же хмурым взглядом хозяина с фотографии и полными рюмками.

— Немая налила, — шепнул Пушкин. — Любовница, интересно все же, или нет?..

Выпили без речей, закусили. И вроде бы за двадцать лет дружбы не раз спорили и ругались, сегодня было иначе, через каждого прошла трещина, отделив друг от друга.

«Это все из-за водки», — думал Глух.

«Иду кодироваться», — решил Петрович, выжимая из рюмки на язык горькие капли. Его все еще тревожили сорок капель, которые якобы можно раздобыть из каждой пустой бутылки.

«Шнырь прав, я чертов эгоист и бабник, но не я один такой. Он, что ли, лучше?!» — Пушкин негодовал, то и дело ерзая на стуле.

«Смерть, она виной всему. Она травмирует и искажает. Кто прав, кто виноват...» — Шнырь открыл еще бутылку.

— Пустые бутылки под столом, — непонятно, спросил или подтвердил Петрович безразлично пьяным голосом.

— Не по ритуалу, что ли? — поставил Шнырь бутылку перед носом Петровича.

— Помню, как с Маргарином бутылки ходили сдавать, — перевел разговор Глух. — Помните, за аптекой прием стеклотары был?

— Такое забудешь разве? — Пушкин обнял Глуха за плечи. — Нам по сколько лет тогда было? Двенадцать? Меньше?..

— Ага, не забудешь, точно, у меня до сих пор ощущение под ногтями от сдирания этикеток, — повеселел Шнырь. — Поэтому, видать, я бутылочному пиву баночное предпочитаю, а лучше разливное.

— Пиво, — оживился и Петрович, — да, про пиво не подумали, может, с ним быстрее торкнуло бы, а то пьем и не вштыривает. Одни базары и распри.

Петровича не слушали, говорили, перебивая друг друга, вспоминали, пока по стеклу не раздался знакомый позывной — тук-тук-тудук.

— Да к черту! — вскочил и распахнул занавески Шнырь, зажмурившись.

— Ебда, — все, что сказал Петрович.

— Странно, — это был Пушкин, и Шнырь открыл глаза. За пыльным стеклом предвечернее яркое солнце, и на фоне ровного, ни облачка, бледно-голубого неба дымящие трубы Комбината и деревья шапками птичьих гнезд на костлявых макушках.

— Тут так много злых птиц, воронье одно, как на кладбище, — тихо сказал Шнырь. — Если это душа Рино, то она не может быть в вороне или в воробье...

— Тут гиблое место, — Петрович потянулся за бутылкой. — Люди тут звереют, с ума сходят, в точности как наш Рино, кончают самым изощренным способом, — булькала водка по рюмкам, он говорил: — Это негласная правда, здесь все оседает, что Комбинат сбрасывает из своих труб. Черная дыра города эти поселки. Тут мертвые души свой век доживают. Мне еще батя про их свалку рассказывал, там целое государство... И как сюда нормальные люди попадают, каким их ветром заносит?.. Подай рюмку мадам, — попросил Шныря и тут же спросил: — Так кто там стучал у тебя в детстве?..

К концу дня Петрович посвежел, это в нем открылось второе дыхание, как он объяснял, и добавлял: — Тут главное, во-первых, лавировать, во-вторых, вылавировать.

Второе у него редко получалось.

Шнырь отмахнулся:

— Проехали.

— А все-таки?.. — Это уже был Пушкин.

— До той ночи я не был таким трусишкой, темноты не боялся, закрытых помещений... — вздохнул тихо Шнырь, возвращаясь в прошлое. — Встал я тогда с кровати, нащупал выключатель и, когда стук приблизился и заскрипела панцирная сетка, включил свет.

Петрович пролил водку и даже не матюгнулся досадно, как раньше.

— Рино попросил, — сказал.

Шнырь вздохнул еще глубже:

— Оно сидело на краю кровати, длинное, голова свисала под потолком, тощее, безрукое, и кожа, как кора дерева, серая в черных плешах. Я бы, может, закричал, если бы не лицо деда. Оно зажмурилось от света, открыло рот, и я оглох от неведомого звука — это был плач и вой, и что-то железное. Оно бросилось бежать и сшибло меня с ног. Я очнулся уже в зале, с шишкой на лбу, меня туда бабушка приволокла, как потом узнал.

— Ну не, — прогудел Глух, — если мертвецы и приходят, то призраками невидимыми, в это я еще с натяжкой могу поверить.

— Дед твой по ходу в дерево реинкарнировал, — серьезно сказал Пушкин. — Давайте тогда помянем всех тех, кого с нами нет, наших умерших дедушек, бабушек...

Выпили, и Петрович спросил:

— Может, приснилось? Или перекурил?.. Очкую я что-то, если такое дело. Мои враги еще живы, поэтому не могут достать меня, а умру, так и припрутся ночью... Я вот зуб даю, мужики, я всегда знал, что умру не от печени и алкоголя, а вот от чего-то подобного. Проснусь ночью, а надо мной хрень такая из загробного стоит, тут и отброшу я сандали.

— Не курю же я, да и не спал. Шишка через неделю прошла, но на левое ухо я стал плохо слышать, а иной раз слышу то, чего как бы не слышно. Звуки всякие.

— Типа след остался, — поежился Пушкин, хотел рассказать про привидевшийся портал, передумал. — Следы, всюду мы оставляем следы.

— Рино только вот никакого следа после себя не оставил, — хрипел Глух. — Ни ребеночка. Ни деревца, записки предсмертной и то не оставил.

— Да-а-а, — загудел Петрович, — это плохо. Когда жил-жил, а помер, так и ни черта от тебя, лишь место на кладбище занял.

— Где-нибудь, мож, есть частичка нашего Рино, бегают дите, Шнырь, разлей-ка, будь другом, выпьем за след, — скомандовал Пушкин. — Чтоб у каждого после его ухода осталась хоть черточка, хоть пятнышко...

Поднялись все, как сговорились, и женщина встала.

— Какими бы мы ни были, но мы были у него и старались быть, — философски закончил Пушкин.

Сели, сумерки заползали в окно, фотография в рамке потускнела, да и лица у всех за столом стали мягче, расплывчатыми...

— Так мы и не повторили, как мечтали, собраться впятером у костра, — напомнил с грустью Шнырь. — А ведь поклялись, что через двадцать лет так же махнем в лес с палатками на ночную рыбалку... Эх...

— Так двадцать лет у нас когда? Нам было по шестнадцать? — Пушкин хлопнул по столу. — Так это ж в этом году!

— Ну и? — пришла очередь Петровича разливать.

— Я хотел предложить, не знаю, как вам такая идея, — Шнырь затеребил скатерть, взгляд его скакал от друга к другу. — Вы, конечно, подумайте, сразу не нападайте. Значит, раз такое дело и нам впятером уже не собраться, в честь памяти Рино, может, сходим все вместе на «Щелкунчика»?..

Кусок колбасы выпал изо рта Петровича в рюмку, Глух не нашел подходящего слова, Пушкин поднял рюмку:

— В точку! — Ыыпил, вытер кулаком губы. — Это охрененно ты придумал.

Подал голос Глух:

— Балет, что ли?..

— Любимый балет Рино, — подобрал колбасу Петрович. — Рино же у нас тайный Щелкунчик был, не в обиду. Я не против. Ему же нравилось. Мы, значит, посмотрим, нет — так потерпим.

— Здорово как, ребзя, — просиял Шнырь. — А я подумал, посмеетесь и пошлете куда подальше.

За это и выпили.

— А ведь мы правда многое друг о друге не знаем. — Пушкин смотрел на снимок мертвого друга. — Но Рино, Щелкунчик нас исправил. Да. Своим уходом он открыл нам глаза на нас самих и на такое понятие, как друг. Дружба.

— Верно все говоришь, — показал большой палец Петрович. — Как положено.

— Теперь нас четверо, и мы еще тесней стали, так давайте выпьем в память о друге и за нашу дружбу. И чтобы кольцо наших объятий ничто не смогло разорвать.

Выпить не успели, в дверь постучали.

Тук-тук-тудук.

Пушкин сел. Шнырь закрыл глаза. Глух с Петровичем обернулись и устались на дверь стеклянными глазами.

В тишине протяжно скрипнули дверные петли.

— Кто там? — спросил, не открывая глаз, Шнырь.

Из-за двери показалась кудрявая мальчишечья голова. Мальчик улыбнулся, обнажив два передних кроличьих зуба, позвал:

— Мама.

Шнырь открыл глаза.

Мальчик повторил громче:

— Мама!

Женщина ойкнула, подскочила, едва не уронив рюмку с потянувшейся за ней вслед скатерти.

— Миша, сынок, — проскользнула позади Пушкина и Петровича тенью, обняла мальчика, поцеловала в макушку. — Пойдем, — и они исчезли. Дверь закрылась коротким взвизгом.

Шнырь посмотрел на фотографию с черной лентой как в первый раз.

— Мы все это видели? — спросил друзей, с которыми дружит третий десяток.

— Как будто в детство вернулся, — шепотом ответил Пушкин.

Глух, хлопая губами, выдавил:

— Э-э-э, копия живая.

— Ай да щучий сын, — ударил по столу Петрович. — Вот тихоня! Ну, за это грех не выпить. Сам бог велел.

— Не, ну вы видели? — повторил Шнырь, рукой будто меряя расстояние от двери до фотографии. — Видели?..

— Реинкарнировал, думаешь? Или...

— Или, или, — перебил Пушкина Петрович. — Давай, ты еще сегодня на разливе не был, — сунул в руку другу новую бутылку водки.

— Глаза и нос, — бубнил Глух, — вылитый...

— Видели, да?! — не унимался Шнырь. — Видели?..

— Наливай!

— Тук-тук-тудук, — раздалось из-за занавески.

Комната 31

*История с табуретом**Глава первая (небольшая),
в которой бабу Полю навестил ночной гость,
и как баба Поля с сестрой пообщалась*

Первый раз он пришел перед Пасхой. Вошел молча в дверь так, что вечно скрипучие петли не пискнули. Прошел между шкафом с одеждой и вешалкой к книжному стеллажу, там, в углу, всегда стоял табурет для гостей. Гость взял его, два шага, и он присаживается прямо у изголовья кровати. Смотрит, и как наяву кажется бабе Поле, осмелюсь и протяни руку, она коснется его бороды. Хмуро пришелец глядит, словно в самую душу пробирается... Худые скулы, широкий лоб. Молча смотрит, слегка согнувшись над ней. И не дышит вроде.

— Вот она, смерть моя, — решила баба Поля. Этот бородатый мужчина в обтягивающем косте пальто.

И тогда она заскрипела панцирной сеткой, заохала и как ни в чем не бывало перевернулась на другой бок к стене.

Может, сам уйдет, откуда пришел. Сразу напряжение спало, вдыхая запах старого, но помладше нее, ковра, обратилась она оленем, что на рисунке тканом пасется, а дальше по известному маршруту вприпрыжку сквозь страшные годы взрослой жизни в невинное фиалковое детство.

Только не вечно оно, и возвращение полно слез и открытых ран, что никогда в этой жизни не заживут.

С натертыми о ворс красными коленками проснулась баба Поля в маленькой, три на шесть, комнате в общежитии, в богом забытом месте. Взялась бубнить молитву, тут и вспомнила про гостя. Да и пахло непривычно. Душно в комнате от сумасшедшей палящей батареи. Муторно.

Не поворачиваясь, начала монотонно вполголоса молитву читать и медленно, в такт голоса, растирать руками больные колени:

— Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией работой Полиной. Укроти врагов, утоли мои боли, отведи от меня всякие хвори.

Эту молитву заучила в детстве на спор с сестрой младшей, просила разбудить ее среди ночи и заставить рассказать.

— Освободи от опухоли: от женской, от мужской, от насаженной и от любой. С рук, с ног, с живота, со всего тела, от вражьего поддела. От ночной подчитки, от дневной подчитки, от утренней подчитки, от упокойной отчитки.

На потолке солнце заиграло зайчиками, да и в Святой Великий праздник грех бояться. Обернулась баба Поля, табурет у кровати стоит пустой, без намека на ночного пришельца. Закончила молитву, уселась в кровати в любимой ночной рубашке, спросила табурет:

— Сама, видно, тебя поставила вчера да со сна забыла. А по ночи кажется всякое, или сон был это. Приснится же такое.

Но больно знакомым показался незнакомец.

Разговелась пасхальным яичком, позвонила сестре, только ее номер и был у бабы Поли на сотике. Похристосовались, и сразу к делу. Ближе к телу, пошутила бы баба Поля, как в молодости, но это время и вспоминать — только до инсульта себя довести. Прошлое забыто, с корнем выдрано.

Рассказала все, до запаха и ощущений. Сестра младшая терпеливо выслушала, не

перебивая, что непривычно, так как любит она это дело, обрубить собеседника на полуслове, с детства любит, с горшка.

Баба Поля начала говорить про яичко и батарею, тут сестра и обрела голос:

— Вот ты говоришь, сон вещей на Пасху и мужик знакомый... Так наверняка Христос это и был!.. Иисус воскрес же сегодня, вот и к тебе по ночи на табуретку пришел посидеть. Христос в пальто! Ты же у нас теперь правильная вся такая стала!

Голос сестры из тьяканья перерос в лай и спугнул солнечных зайчиков с потолка. Потемнело в комнате.

Сестра не унималась:

— Я одна у тебя осталась! Дети тебя в богадельню только из-за меня не упекли, комнату тебе нашли! А ты, значит, теперь белая и пушистая?! Кто старое помянет... А от прошлого, баба Поля, не убежишь! Иисус к ней приходил, как же!.. Уснула и храпела во все дыры, и снился тебе мужик какой из твоей бурной жизни! Ты и у меня, вспомни, мужика чуть не увела!..

— Пасха же. Нельзя сегодня, — зажегся голосок бабы Поли и тут же погас.

— Да знаем мы таких верующих! Вся Россия такая! Притворы чертовы!

Гудки не вернули солнце, пасмурно за окном, ветер колышет стираную занавеску. Серые тени по потолку. словно прячась от них, украдкой перекрестилась баба Поля у холодильника, кусок кулича в рот не лез. Зачем про гостя ей рассказала? — терла шишки колен. — Но знакомый до боли уж больно. Будто родственник, сосед, мож?.. Подскажет, думала... Но не Христос, — гнала вслед за теньями мысль. Хотя взгляд печальный, полный жертвы...

Это ее юбилейная, пятая Пасха. На прошлое Светлое Христово Воскресение из соседей к ней Гриша-страдалец только и зашел, да и то спросить, есть ли чем разговеться. Яичком не захотел, горячки жаждал.

По голосу — сестра, однако, с утра приняла уже хорошо. Водка всегда разговорчива. Водка требовательна. Прошлое ей подавай, подавай водке месть и жертву.

Растерла колени до жженья, опомнилась баба Поля, по сторонам смотрит, будто не в своей комнате. Такое с ней бывало уже, терялась на миг: кто она? где? почему? И быстро все вставало по своим полкам — книги, посуда, она за столом, и тогда баба Поля заговаривала сама с собой, спрашивала громко:

— А ты ли это та Поля, которая там-то, там-то и то-то, то-то делала?..

Если отвечала на вопрос, улыбалась — она, все еще она. Просто временами, особенно в дождь или метель, чудилось — подменили ее. Что это не она живет в комнатухе с номером 31, где соседи не здороваются, знать друг друга не хотят, живут, как катятся, доживают... А Поля настоящая, та самая, из фиалкового детства, так и живет припеваючи где-то на другом конце города и по-прежнему в окружень любимых цветов.

Отдышалась баба Поля. Дождалась, когда нытье в коленях пройдет, сказала приказным тоном:

— Сама сегодня пойду всех навещу. За столько лет можно.

Глава вторая (большая), о том как баба Поля по соседям с пасхальными яйцами ходила

Надела самый красивый халат, надушилась, седые волосы под гребень не стала прятать, косынку надела с золотыми кистями, очки сменные с резными дужками. Собирается, а сама на табурет все посматривает. Не выгонишь же никак из памяти бородатого визитера с глазами-ранами... А в гостях невольно забудется.

В карманы набрала яиц пасхальных, по пять в каждый. В крыле общежития

девять комнат, но не во всех одиночки живут, знала она. Хотя все как одиночки, и в семье каждый сам по себе...

Многих баба Поля не знает. Кто-то приходит, поживет чуток и исчезает бесследно, как и не было. Вешаются часто, от водки гибнут, всхлипывает баба Поля. И еще одно яйцо про запас взяла.

В зеркало взглянула, перекрестилась и открыла скрипучую дверь.

Смазывать не смазывать, все равно, как потерпевшая, орет.

В коридоре мрачно, ни одной лампы не горит, а ей не привыкать, бывало так и шутит, мол, научилась я в темноте жить, слепотой не испугаешь.

Музыка слышна откуда-то, празднуют. Потеплело на душе, воспоминания пушинками зашекетали в носу и намочили глаза. Слезы делают нас чище.

Баба Поля вгляделась, а в конце коридора лавка для курильщиков у окна, на ней мальчик сидит, экран телефона голубым светом лицо страшным делает. Тут и налетает сосед, что через стенку живет, тот самый Гриша-страдалец, и опять еле на ногах, и заплетающимся языком:

— Баба Полечка, — мямлит, а перегар, аж отсюда окна вспотели, что еще темней стало, — Христос воскресе, пардон муа.

И руку, в которой запасное яйцо, берет и целует.

— Воистину воскресе, — тихо отвечает баба Поля.

— Яйцами, чур, не биться, — вставляет страдалец, — и так все безголовые и безъяйцовые. Вся Россия сплошняком.

— Праздник же, ну а ты вон как Спасителя встречаешь, — вырывает руку баба Поля. — Возьми яичка, закусишь хоть.

— Закусить-то я возьму, кто бы налил, — отрыгивает. — Пардон муа, баба Полечка.

А когда баба Поля поворачивается, хочет постучать в дверь, что напротив ее, отдергивает руку старушки.

— Тсс. Ни-ни-ни. Там смертельно больной.

— Да все мы смертельно больные, — застывает за соседа баба Поля. Видела она этого юношу с печальным взглядом, еще тогда подумала, что он-то тут забыл, ангелоподобный.

— Он насмерть болен, — икнул и пошел по коридору. — Да и нет его, по больничкам все. А чем болен, кто знает, вдруг заразно. Но, сука, рисовал как бог, — взмахнул руками Гриша, яйцо выскочило и покатилося, прицокивая, по грязному полу: — Стой, стой, стой...

Исчез на лестнице Гриша-страдалец, баба Поля постучала в комнату молодого художника. Даже на деревянной двери были радужные кляксы, отпечатки его пальцев, мазки... Как-то в мойке баба Поля испугалась: парнишка мыл руки, и вся раковина вдруг забурлила алым, вот тогда он и сказал, что пишет. Так и сказал: «Пишу я, бабуль, не пугайтесь, рисую, с красным цветом перебрал».

За дверью тихо, слышно, как ветер воеет. Жутко холодно стало от слов «смертельно болен», баба Поля поежилась. «Помолюсь за него», — решила.

Мальчик все играл в телефоне, и когда она подошла к нему, сказала:

— Христос воскресе.

Играл, серьезный и беспощадный. Баба Поля достала яичко, красное попалося.

— Давай тогда биться будем с тобой. Сможешь расколоть или бабульке сдашься?

Мальчик, нахмурившись, взглянул, нажал пару кнопок на телефоне, экран побелел, потух.

— Яичками стукаться? Тогда я бью, — взял свое орудие боя, сжал в кулачок, баба Поля сделала то же самое, мальчик ударил и тут же вскрикнул: — Йоу! Я всегда побеждаю, давайте сюда яичко и не боритесь со мной больше.

Погладила победителя по голове баба Поля и сейчас заметила, что у мальчонки с верхней губой беда, — словно заячья.

— До свадьбы заживет, — сказала, в ответ услышала, как лопаются один за другим ее пасхальные подношения.

— Не! — Первое шмякнулось об пол. — Заживет! — разбилось второе. — И не стучите в тридцать третью, у мамы гость, — рявкнул.

Дверь открыл горбун, тенью проскочил мимо напуганной, растерянной и обиженной бабы Поли, следом появилась женщина, на ходу накидывая на пеньюар длинную вязаную кофту:

— Баба Валя, Христос воскрес же, — полезла обниматься, а от самой несет всем, что не сосчитать: тут и пиво, и пахучий лак для волос, плюс дезодорант, добавьте пот, перемешайте с табаком и лучной закуской. Баба Поля стерпела, виду не подала, затаив дыхание, протянула голубое яичко.

— Воистину воскрес, Галя, — ответила.

— Ой, и у меня яичко есть, в клеенки сейчас модно заворачивать, что с краской мучиться.

Не любила баба Поля в клеенки эти, как сказала соседка, яйца пасхальные рядить. Суррогатом называла, мертвыми яйца смотрелись, искусственными, деревянными.

— Вот, баба Валя.

Баба Поля не стала поправлять, Валя так Валя, забрала яичко, мысленно она уже сорвала с него тесную рубашку, поклонилась.

— А что, может, по стаканчику за Рождество, ась? — и расплылась корявой улыбкой из-за неудачной операции в детстве на заячьей губе. — Пиво крепкое.

— Некогда ей! — раздалось с лавочки. — Сейчас к Космосу пойдет, потому что журналист не откроет, может, уже и свинтил куда, пока я ссакать ходил, а больше и некого.

— Такой грубиян, без отца растет, — обволокло безысходностью перегарное дыхание женщины, и баба Поля отступила и снова потерялась на мгновение — кто я? Что происходит?.. Вовремя девица голос подала: — Баба Валя, может, денюжку мне занять сможете, а?..

— Ты мне скутер обещала!

Баба Поля лишь прошептала:

— Нет, извини, нет...

Колени как в песке хрустели и шелкали, пока баба Поля шла к комнате журналиста, где ей никто не открыл, а потом шаркала дальше, под язвительный смех дрянного мальчишки, мимо своей комнатки, потом комнаты Гриши, мимо пустующей комнаты повешенного, к 27-му номеру. Видит Бог, хотела как лучше. Спицами вязальными обида в сердце и давай заматывать кишки в клубок. Ведь лишний раз на глаза им не попадалась, соседям этим, в комнате на ведро ходила, чтоб не помешать, в тазу мылась... и получи — «бабка Валька», ладно я, яички-то за что ирод разбил?! Крутится, запутывается клубок из мыслей, переживаний...

Вечность по песку шуршала баба Поля, а приблизилась — силы откуда взялись, и не поняла сразу. Да это зайчики солнца забегали по крашеным в серо-буромалиновый цвет стенам. И возле нее кружат, будто одобряют — все верно делаешь, бабушка Поля.

А дверь в 27-й комнате приоткрыта, и видно, как мечется в одном спортивном трико тощий и обросший, как бабай иль леший какой, мужичишка, если б ростом повыше был, — в точности ночной гость с табурета.

Кашлянула разок баба Поля, мужичишка отпрыгнул, как кошка ошпаренная, и к двери — шнырь.

— Баба Поля, нельзя так подкрадываться и шпионить, — прошипел, а глаза так и зыркают туда-сюда.

— Дверь открыта же. Сквозняком, мож?..

В комнате у него, мама дорогая, одни бутылки пластиковые пивные и конструкция какая-то посреди. Почему конструкция? Виталий, сосед в трико с пузырями на коленях до пола, сам так ее назвал и добавил таинственным голосом:

— Это точно сработает, баб Поль, только тссс, — приложил палец к губам, не стесняясь почесал в промежности. Отхлебнул из зеленого баллона жидкость вонючую, протянул:

— Если не побрезгуете. Оно, правда, выдохлось, с ночи забыл закрыть крышкой.

— Не пью же я, а к тебе похристосоваться зашла, праздник же сегодня Великий.

Побледнел и без того бледнолицый сосед, попытлся, за грудь тощую с клочками волос схватился:

— Неуж, неуж Меркель Ангела умерла?

Опешила баба Поля, стоит в дверях с желтым, как солнце, яичком в руках:

— Она тут при чем?.. Жива вроде.

— Черт, — хлопнул по впалому животу себя Виталий, — из-за нее же Лунка моя ушла, жена ненаглядная. И с работы погнали поганой метлой, когда узнали, что не знаю я, кто это такая и с чем едят ее, эту Меркель.

— Оюшки, не знала, что женат был, и про работу...

Мужичишка козлом подскочил к бабе Поле:

— Вот это она все — Ангела Меркель. Говорю «Меркель» — подразумеваю всю политику, всю власть. Уползла моя улиточка от меня, когда Ангелы этой в семье нашей стало больше, чем надо.

Затуманилось в голове бабы Поли. Окна у Виталия заклеены газетами, ни капли света. Паутина с гардин вместо занавесок, в углах черная плесень поселилась неистребимая. И голос Виталия безумием звучит. Дергаются по очереди веки глаз его, ногтями пиво свое дрянное закусывает, до мяса изгрызены пальцы.

— А это, — тычет он в свою перемотанную проводами конструкцию из стульев и трубок алюминиевых, — это заглушит всех Меркелей на свете и вернет мне Лунку мою, Вику-Викторию. Сама улиточкой приползет. И будем, как прежде, жить-поживать и Меркель не знать.

Отхлебнул гадости, отрыгнул.

— Так не лучше тебе самому к Лунке сходить с цветами и подарком? Поцелуешь, обниметесь, и все наладится без этой, — баба Поля показала на чуду-юду-конструкцию. — Любовь, она людьми притягивается, душами, сердцами. Не машинами любовь завоевывается.

Запрыгал Виталий, замотал длиннющими, ниже плеч, волосами, перхотью сыпет, ногами стучит.

— Да нет же! Нет! Баба Поля! Нет! Пока власть держащие волнам космическим препятствуют свободно в нас проникать, нет места любви в мире нашем!

Рука с яичком так и опустилась:

— Ох, родненький, отдохнуть тебе надо. В праздник такой не работай уж. Ляг, полежи.

Подала яичко, притянула к себе, обняла. Сердце мужичишки надрывом бьет, рыдает. Выскочить до любимого сердца хочет, того гляди и выстрелит.

Заплакала баба Поля, слезы сами побежали и на костлявые плечи Виталия закапали. Не сдержался и он, навзрыд выплеснул все годы одиночества и тоски. Черной желчью потекла из него боль, сполз на пол, уткнулся в больные колени бабы Поли, и вдруг сквозь всхлипы и завыванье услышала баба Поля голос Виталия:

— Хрис-тос вос-кресе, — выдавил он и отдался целиком неиссякаемому горю своему.

— Воистину воскрес! — гладит по сальным волосам Виталия баба Поля, — воистину воскрес!

Уложила горемыку на диван, укрыла, перекрестила. Расчистила место на заваленном, залитом, загаженном журнальном столике, оставила яичко пасхальное, капельку солнца в мире разбитой мечты, морока и паутины, про себя прочитала молитву, свою любимую, которую помнила наизусть с детства, а Виталий спит беспокойно, ворочается, всем телом брыкается, Лунку без конца все зовет. И зовет, и зовет...

Ушла, придавленная, выпотрошенная, без души будто ушла баба Поля в свою комнатенку. В коридоре пьяный Гриша пророчествовал скорый конец света, смеялся и плясал мальчишка с израненной губой и сердцем... Баба Поля крестила их и на ходу засыпала. Сонная рыба в мутной воде медленно опустилась на скользкое дно, скрывшись в темноте ила, одно лишь произнесла баба Поля, сама не зная почему: «Ганг, твои воды замутились». И был сон.

*Глава третья (очень большая),
в ней бабу Полю снова посещает ночной визитер,
и она находит ответ на книжной полке*

Баба Поля не помнила, открывала глаза или нет. Но вот он, гость ночной, сидит, как и в первый раз, на табурете у изголовья кровати, и смотрят глаза его, страдания исполненные, тоскою заполненные, в душу ее. Нагибается он к бабе Поле еще ниже и молчит, а может, и говорит, да страх уши заложил, не пискнуть. Борода вот-вот лица ее коснется, но баба Поля только смотрит во все глаза, запоминает каждую морщинку худого лица. Широкий открытый лоб, запавшие щеки, обрей да побрей, кажется, голова на яйцо похожая будет, острием вниз, если яйцо поставить, да к шее с плечами.

И чем больше вглядывается баба Поля в него, чем глубже взгляд проникает на дно ее души, тем меньше, даже совсем не страшен незванный знакомец. А в том, что она его знает, баба Поля уверена, как в силе молитвы своей. Знает и вспомнит. Духота гонит из-под одеяла, баба Поля тихонечко так руку высовывает, дай потрогаю, наяву ли он, аль все ж во сне. Пальчиком, хоть мизинчиком прикоснуться к пальто его, повезет, так за бородку ухвачу да и дерну. А как дотронулась до сухой бороды гостя, так и охнула всей грудью, громко, почти вскриком, и с головой укрылась баба Поля, а сама вслушивается, что там, на табурете, творится. Творилось же только с ее животом неладное, фуги такие издавал, что стыдно перед гостем стало, неудобно. Обхватила ворчуна руками баба Поля и молитву взяла. Последние слова вслух произнесла:

— Как я жила без опухоли, так чтоб и дальше без опухоли жить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

И живота не слышно, вокруг только ночь разговаривает собачьим лаем и гуденьем огня из труб комбинатовских.

Духота правит этим миром бездушных. Духота и перегар.

Смело скинула одеяло баба Поля, поднялась, что в спине хрустнуло.

И вот он, пустой табурет, в углу книжного стеллажа, но на подушечках пальцев еще пульсирует воспоминанием ощущение жесткого волоса.

Села в кровати баба Поля в ожидании, когда коленки заломит соль до жгучих слез, — не было боли, и живот перестал фуги выводить, и колокольчиком зазвенело в голове: ты его знаешь, ты его знаешь.

— На писателя нашего, русского классика похож, — заверила баба Поля. — Некрасов?.. Островский?.. Не Толстой точно — у, бородачи! — погрозила кулаком

книгам на полках. Книги, ковер и так по мелочевке, все, что она получила в наследство от прошлого.

— Не Тургенев, тот упитанный, какой-то белобородый. Чехов, мож?! — подскочило сердце и вернулось: — Тот бы в пенсне был.

Баба Поля вернулась в еще теплые внутренности кровати.

Может, и не классик? Может, ученый какой? На кой ему ко мне приходиться? Я кроме книжек ничего и не читала, и не помню ни математики, ни физики. Нет, писатель, как пить дать писатель. Зачем я понадобилась ему?..

Так с думами о визитере баба Поля опять пробралась в фиалковое детство, которое ни одному самому мастеровому сочинителю не сочинить.

Тревога подняла на ноги, беспокойно на душе. В термосе травяной чай настаивался больше суток, но и он не помог, съела кусок кулича баба Поля, в окошко долго смотрела, как низко бежали облака, а вслед за ними не попевали местные пропойцы за дозой отравы. В хозяйственном магазине настойка боярышника стоила копейки. Этим и жили поселковые страдалцы. Нет-нет, а кое-кому все-таки удавалось обогнать облака — так горела душа и трубили трубы.

Сотик, баба Поля его еще «погремушкой» звала, связал-таки узор — за сестру изболелось сердце. Пьет та чересчур много, года два уже пьет как не в себя. Будто жажда какая-то мучает. Алкоголь кровь разбавит, злость из нее так и попрет. И не помнит потом, что говорила такое, отвечает, не могла я и все, тема закрыта. Наговорит же столько гадостей, это от отца у нее, тот тоже, как напьется, всех из помойного ведра поливает.

Держит телефон в руках баба Поля, и от нерешительности слезы текут полосками-антенками, будто связь устанавливают невидимую.

Всегда первой на примирение шла старшая сестра, баба Поля извинялась, даже если не была виноватой. Порой ругала себя за слабость, клятвенно обещала больше никогда, ни за что не сделает первый шаг...

Палец, не повинуясь, нажал цифру один — горячая клавиша вызова сестры. Баба Поля сощурилась в ожидании гудков и нервного, как всегда недовольного, голоса сестры, но в телефоне тишина, и наконец механический голос сообщает, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Выдохнула баба Поля, сказала себе в утешение:

— Спит наверняка после вчерашнего, так бы первая позвонила, знает же, что переживаю...

Табурет притягивал пустотой бермудского квадрата. Сядь — и исчезнешь. Выпадешь из этого мира в мир Летучих голландцев и Марии Селесты...

Оттуда приходят призраки и туда уходят живые...

Отложив телефон, баба Поля присела на жесткое сиденье. Непривычно под ней затрещал табурет. Будто гость подчинил его себе за эти ночи. А может, он давно приходит? Просто не замечала?.. — проскользнула мысль. Поежилась баба Поля. Тени заходили по комнате, заматались, вот и их раньше не замечала она. Как серые, из света и пыли сотканые, силуэты, шарят по комнате в поиске. Ее ищут они. Ветер гудел в щелях окна, иной раз дверные петли подпевали протяжно, так печально, словно оплакивая. И опять потерялась на мгновение баба Поля, призрачный мир невидимок захватил и, может, утянул бы в себя навсегда, только пихнул кто-то бабу Полю, сильно так под правую бочину. Едва не загремев на пол, вскочила, смотрит на табурет, как будто он ожил и взбрыкнул, и запах незнакомый, а в носу щиплет, словно пыль с книжных полок смахнул кто неосторожно.

— Ишь ты, — громко, возмущенно начала баба Поля, — хоть и гостевой табурет, но и я на нем нет-нет да посиживаю.

А на пустом табурете, из ночи выбравшись, пришелец бородатый сидит и показывает на книжные переплеты.

Ни капли страха, одно любопытство. Поморгала баба Поля, кофе крепкий решила заварить, чтобы не засыпалось на ногах, обвела глазами ряды старых книг. Взяла наугад первую, с печатями библиотечными, уже и не помнила, почему не вернула книгу, скорей не ее эта книга, детей или внучки. Тургенев «Накануне», «Отцы и дети». Не взглянула на портрет, вернула на полку. Следующий был Максим Горький, томик Ахматовой не раскрывала, попались под руку Хемингуэй и Голсуорси, но заграничным классикам явно нет дела до старушки из заброшенного общежития на краю Вселенной. Твардовский, Крылов, Гумилёв, Бунин...

Не находился ночной визави. Знакомые черты мелькали во многих русских мастерах слова, не было того режущего душу до крови взгляда, того внутреннего мученического света. Долго всматривалась в Салтыкова-Щедрина. Присела вновь на табуретку. Но нет, не он, не Щедрин вторую ночь подряд заглядывает внутрь сердечных чувств и мыслей бабы Поли.

— Не Щедрин, — убрала растрепанный томик и лишь теперь только вспомнила про шишки на коленях. Ни намек на боль, и ветер на улице, того гляди, тучи нагонит, а перед непогодой по обыкновению артрит дает о себе знать, завывая наперекор ветру.

— Видно, гость разделит с тобой болезнь, ему не привыкать, вот и пожалел старуху, — по привычке потирая коленки, сказала баба Поля и сняла с полки последнюю, перед тем как заняться обедом, книгу. Шестой том из тридцатитомного собрания сочинений Фёдора Михайловича Достоевского. Еще до того, как открыть книгу, кольнуло под сердцем у бабы Поли — он! Конечно же, он и никто другой сидел у нее на табурете несколько часов назад. Защитник всех униженных и оскорбленных...

«Гравюра на дереве В.А.Фаворского». Подпись под черно-белой картинкой, а на картинке те же глаза, та же сутулая фигура в пальто и борода в точности как та, за которую ухватилась баба Поля в предрассветный час.

На гравюре Достоевский склонился над столом с кипой рукописных листов, взгляд сквозь время и в самое нутро бабы Поли. Закрыла шлепком книгу. Схватила за грудь баба Поля — и вздохнуть хочет, а не может, замерло дыханье в районе души и сердца. Тут опять, будто сам Достоевский ее кулаком под правый бок, тюк — мол, не расслабляйся, баба Поля. Дыши.

Перевела дыхание, раскрыла толстенную книгу.

«Преступление и наказание» — и помнит же, что читала еще в молодости, по школе, а хоть убей, не может вспомнить, в чем там закавыка. Истина в чем? Сюжет?..

— И ко мне какое отношение имеет? — спросила вслух, снова поглядела на рисунок классика. Перелистала на начало романа.

Пугало название, и объем пугал. Читать не перечитать, за год, а то и больше, роман не осилить, в шести частях, да еще и с эпилогом.

Сестре позвонить, она, бесспорно, расскажет, что там за тайна в романе, что за идея, и, быть может, станет ясно, почему Фёдор Михайлович навевается по ночам...

К литературе баба Поля имела косвенное отношение, читателем была запойным. Работая в торговле, приходилось много читать в ожидании покупателя или в долгих поездках за товаром, когда в хорошие времена работала на саму себя, возила из Китая обувь, держала палатку на центральном рынке. Тогда она и могла прочесть это «Преступление и наказание». Еще в киоске в ночные смены читала залпом все, что попадется, как-то Ленин попался, один из его бесчисленных трудов, ничего, читала, чтобы скоротать сонливые часы.

Пока закипал чайник, баба Поля надела очки для чтения и, не отвлекаясь на кружащие тени и канитель мыслей, стала читать. Увлекаясь, читала в голос. Заварила кофе, сядила на табурет, ложилась на кровать, пила кофе, подходила к окну, не отрываясь от повествования.

Коморка героя Раскольникова стала ее коморкой под номером 31, отвлечение к старухе-процентщице захватило бабу Полю буквально на физическом уровне,

до зубного скрежета, титулярный советник Мармеладов наполнял жалостью и состраданием, каждое слово отпечатывалось и ранило. Баба Поля ждала подсказки с каждой перевернутой страницей.

Почему Достоевский? В чем тайна? Где ответ? Она не расслышала трель сотика, только кода он заголосил на последних нотах, баба Поля отыскала погремушку, ответила.

— Ты что там, дрыхнешь?! — раздраженный голос сестры. — Второй раз набираю, думаю, мож, бабай этот твой, что под Иисуса косит, уволок тебя куда.

— Фу-ф, — баба Поля не нашла сразу нужных слов.

Сестра говорила:

— Голова из-за погоды разламывается прям, купила тебе сахар тростниковый, полезный который, но, боюсь, не дойду.

А баба Поля никак не решится, не знает, с чего начать рассказывать, выдыхает и охает лишь.

— Ты еще со своими снами. Мне вон приснилось, будто на нас черные псы напали. Скорей, волки, думаю, это были, а мы с тобой за огородом, а калитка изнутри заперта, и эти чудища нас окружили, ты и вышла вперед, типа меня закрыла и больше ничего не помню. Лишь кровь, много крови было, а потом, как будто не кровь это, оказалось.

— А что? — прорезался голос у бабы Поли.

— Краска.

— Вот-вот, краска, точно, я второе утро запах подобный ощущаю.

— Не смей, под тобой чего только не хоронится с ликвидированных цехов керамического... Там бочки всяких лаков и растворителей, испаряется вся эта хрень, тебе и мерещатся Иисусы Христы.

— Достоевский это, — твердо вставила баба Поля с обидой в голосе за классика и гордостью за себя. Надо же, на восьмом десятке к ней великий человек пожаловал...

— Писатель, что ли?.. Достоевский?..

— Писатель, писатель. Я на сто рядов проверила.

Ожидая привычной издевки, баба Поля напряглась, готовя про себя целую речь в защиту гостя, но сестра сказала:

— И как думаешь, зачем он к тебе стал вдруг приходить?..

Баба Поля не ответила.

— Предупредить явно о чем-то хочет, я уверена. Помнишь, у меня подруга по техникуму была, Мирка-певичка. Так вот к ней во сне ни с того ни сего начала Анна Герман приходить, уже покойница. У Мирки песни из репертуара Герман были, всякие там «сады цветут», «надежда». Мирка думала, гадала, к чему бы это, вышла, словом, на каком-то смотре художественной самодеятельности, спела «один раз в год сады цветут» и больше не поет. Пропал голос. Даже в душе не поет и за столом под водочку, только мычит. А не спела бы про сады, может, и сохранился голос.

— Ну, — вставила баба Поля, а сестра продолжала:

— К тому я, что все неспроста, эти его посещения, хочет что-то от тебя или сказать что. Может, за старое что вспоминает тебя. Когда ты у нас фестивалила налево и направо...

Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией работой Полиной, — начала читать молитву баба Поля, чтоб заглушить звон сестринских оскорблений. Сестра за пару минут припомнила все проступки старшей сестры от и до, начиная с детского сада и заканчивая историей с Достоевским, и как результат — громкий истеричный вердикт:

— Короче! Ты во всем виновата! И Бог не поможет! Это он послал писателя тебе на табурет, намекая, чтобы ты думала, а то табуретка по тебе плачет!..

Впервые за десятки лет слова сестры нисколько не пошатнули душевный мир

бабы Поли, не всколыхнули. Она сама нажала кнопку отбоя, села на табурет, предварительно проверив, не сидит ли на нем известная личность, раскрыла книгу. Раскольников дочитывал письмо матери. Баба Поля перевернула страницу.

Прервалась по зову желудка и живота, болезненно заурчал организм, потянул от чтения к холодильнику. Суп-звездочки в пачках варила в крайнем случае, сейчас как раз такой случай. Двадцать минут, и обед, ароматный благодаря лавровому листу — его баба Поля предусмотрительно кладет во все полуфабрикатные супы, — остывает на передвижном столике у дивана.

Вместо Родиона Раскольникова баба Поля прошла ворота, прошла квадратный двор, поднялась на лестницу, до квартиры старухи оставалось совсем чуть-чуть, сердце бьется об топор, спрятанный в петле за пазухой. Второй этаж, третий, четвертый, вот и нужная квартира. Прислушивается баба Поля, тихо на лестнице, и из квартиры процентщицы ни звука, одно лишь сердце стучит в ушах и эхом разносится по этажам.

Позвонила раз, другой, чувства обострились, стали различимы шорохи, скрипы... После третьего звонка за дверью послышались жизнь и звук отпираемого затвора.

Седьмую главу баба Поля не дочитала. В комнате давно тени слились в полумрак, и остывший суп она выпила прямо из тарелки.

Книга вернулась на полку.

— Надо же. Получается, Достоевский пришел предостеречь, — размышляла вслух. Смотрела в окно, как темнота побеждает свет и свет сдается без сопротивления. — А Раскольников очень даже похож на Фёдора Михайловича.

Прошла по комнате от окна к двери, заложив руки за спину. Каждый раз, проходя мимо табурета, останавливалась и смотрела на пустой квадрат сиденья:

— Задачку ты загадал, — скажет баба Поля. Мотнет головой с распущенными седенькими волосами и опять ходить... А в голове и на сердце путанный узлами и петлями клубок ни в жизнь не размотать.

Приготовила чай на травах, съела кулича, об одном лишь не прекращая думать — что дальше? Может, Достоевский сегодня снова придет и подскажет, а то так от дум можно и рассудка лишиться. Молитва спасала. Пораньше легла баба Поля. В темноте прислушивалась, хотя знала, что он приходит бесшумно, даже вечно скрипучие петли не пискнут.

Глава четвертая (маленькая), в ней баба Поля спускается на первый этаж

Сон сошел, только закрыла глаза. Прошлое воскресло черно-белыми кадрами. Заворочалась, заметалась в кровати, отгоняя кошмар, силилась проснуться, а открыла глаза — не в своей кровати она лежит, а в гробу заколоченном. Давят узкие стенки деревянного ящика, крышка прижимает, не вздохнуть. На груди руки крестом сложены, цветы искусственные землей пахнут. И схоронили-то в одной ночнушке с заплатами, и неудобно бабе Поле перед народом, что на похороны пришел, до слез обидно, что вот так не по-людски, не в платье, с растрепанными волосами. Повернулась переполненная обидой и стыдом набок баба Поля, тут и увидела Достоевского на табурете.

— Вот, — пропищала слезливо, — как в ваших романах почти что беда со мной случилась... Детям ненужная, внучке и подавно, все им отдала: и квартиру, и сбережения, а меня в общагу на конце света вселили, а потом и в гроб, как дворнягу, в чем была, заколотили.

Всхлипнула баба Поля, а Достоевский от нее отклоняется вместе с табуретом, и видит баба Поля — на коленях у Федора Михайловича топор лежит. Ахнула старушка всем существом своим, писатель взял обеими руками топор и протянул ей. Молча,

лишь глаза говорящие душу бередают. Во рту сухо, будто в рот могильная земля попала, и перцем в носу щиплет. Потянуться надо бы, вертится мысль, взять топор, коль даст, значит нужен. Пригодится. Вытянула правую руку, ухватилась за сухое дерево, оно и бабахнуло громом.

Будто не спала, села в кровати баба Поля, а грохот еще звенит в ушах и в коридоре общежития. А у кровати перевернутый набок табурет.

Подняла табурет с едва уловимым запахом из другого мира, слезы потекли, закапали. Достоевский сделал свое дело, больше не явится посидеть у нее в изголовье. Тоскливо защемило внутри у бабы Поли, словно провожала лучшего друга всей жизни, и тихие слезы отпечатались капельками-точками на пустом квадрате табурета.

Кофе горчил, солнечный зайчик промелькнул лишь раз, и тучи снова спрятали светило. Моросило за окном, но в комнате духота и уныние.

— Где взять топор? — спросила баба Поля себя.

У Гришки-страдальца скорей всего есть, но он потребует горячительного взамен, да и вопросами засыплет.

Проверила в шкафу коробки со старой посудой, нашла молоток с пассатижами и пару отверток.

Как вариант, купить топор в хозяйственном, только будет ли он там?.. Сестре заказать, так тоже чревато — вопросами, подозрениями, обвинениями...

Присела на табурет баба Поля, слушает дождь, как он по молодой листве стрекочет и по подоконнику, слушает сердца скромное тарактенье, и вдруг словно солнца лучик пронзил.

Вспомнила, взмахнула руками баба Поля. Поднялась. Заметалась по комнате. Халат надела просторный. Очки для чтения, волосы под гребень собрала. Вышла торопливо, дверь не стала закрывать, спустилась по темной лестнице вниз на первый этаж, там возле закрытой комнаты вахтера щит пожарный.

Коробка на стене выкрашена в красный цвет, а в ней топор такой же броский, пугающий. Сняла с крючков инструмент баба Поля, взяла осторожно за деревянную рукоятку, взвесила, ух и тяжелый, спрятала на груди под халатом в фиалковый цветочек.

На первом, нежилом этаже, заставленном бочками и бракованным товаром с керамического завода, сильно пахло смесью из лакокрасочных веществ. Закружилась голова как во хмелю, затошнило; баба Поля, прижимая топор к сердцу, прошаркала по своим следам назад в комнату, про себя повторяя строчки любимой молитвы.

Сначала положила топор в шкаф к зимним вещам, но тут же достала, убрала под кровать. Красное топорорище светилось в темноте, и баба Поля могла поклясться, на ощупь оно было горячим. Дерево и лезвие напряглись в ожидании, топор готовился к битве.

*Глава пятая, последняя (большая),
из которой становится ясно,
с какой целью приходил Достоевский, и кое-что еще*

После плотного обеда, манной каши с оставшимся куличом, баба Поля прилегла под тяжестью мыслей и натиском непогоды. Ветер бился с жаром батареи, гоня пыльные шарики по верхним полкам книжного стеллажа. Перед Пасхой пыталась достать с помощью табурета и тряпки на швабре неподступные места, да чуть не загромоздила под фанфары с табурета, хорошо — успела на швабру опереться. Смела веником, где достала, паутину, окошко вымыла, полы, и лишь настойчивый ветер сгонял притаившуюся пыль, и баба Поля снова мучительно искала способ добраться доверху...

С кровати смотрела, как под потолком дышит другая жизнь, сотканная из паутины и пыли. Крохотные миры всюду. Она тоже один из таких незаметных, непримечательных, невидимых мирков.

Общежитие, уцелевшее в схватке за выживание крыло на втором этаже, — мир без цели и истории. Тут у каждого своя маленькая история. В комнатах живут не люди — истории... Истории невидимых жизней, потерянных душ... Истории обновляются, обнуляются, меняются, стареют, умирают... Комнаты остаются... Бездомные комнаты...

Баба Поля задремала. Баба Поля боится снов из прошлого, боится своей истории, что проста, как три копейки. Проста в своей дикой предсказуемости. Дети вырастают, дети не прощают своего одинокого взросления, дети забирают все и списывают родителя со счетов в приют на край земли и жизни.

На тонкой нити сна и яви табурет громадных размеров, и если взглядеться, можно увидеть, что по всему периметру сиденья, на краю, свесив ноги, сидят маленькие человечки. Приглядишься — узнаешь всех, кто шел с бабой Полей по жизни, кто рука об руку, кто спиной, поодаль, кто с закрытыми глазами...

Вот сяду сейчас на всех них и раздавлю, думает баба Поля, и от мысли разгорается в ней пламя мести за все пролитые слезы, тумачи и оскорбленья. Или одним шелбаном побиваю всех. Тут и свекор со свекровкой, и детки веселятся, будто снова мать квартиру с дачей на них переписывает, и сестренка младшая сидит, ножками болтает, с бутылки, прямо из горла водку хлещет... Сдуну их, как ветер пыль со шкафов, и дело с концом. Решилась баба Поля, набрала в легкие воздуха и дунула что есть мочи, и закашлялась, никак слюной подавилась, согнулась пополам баба Поля, а разогнулась уже в реальности, на кровати. За окном растеклись сумерки, уплотнились тени. Комната в это время похожа на склеп, гроб, вспомнила сон баба Поля и осторожно спустилась на колени. Заглянула под кровать. Топор с красным топорищем был на месте. Баба Поля потрогала его, убедилась, что он настоящий и теплый, будто живой. Встала, захрустело в коленях, безболезненно, но по привычке схватилась за ноги баба Поля, ойкнула по привычке. На табурете пятно света, это за окном фонарь загорелся, странное дело, эти поселковые уличные фонари — горят, когда им вздумается. Иной раз перемигиваются, разговаривают друг с дружкой да с припозднившимися прохожими.

Улыбнулась, как солнечному зайчику, баба Поля, вспомнила первый визит бородатого незнакомца, которого за Иисуса приняла, и тихо рассмеялась.

— Теперь ты самое дорогое, что у меня есть, — сказала она табурету. — На тебе самый из самых великих писателей сидел.

Подвязала халат, включила бра над кроватью и электрический чайник. Ох, и шумел порой чайник, как и фонари, живущий своей жизнью. Пока баба Поля делала бутерброды, чайник шелкнул, отключился. Шелкнуло и сразу бабахнуло за окном, баба Поля терпеть не могла эту детскую забаву — круглогодично взрывать новогодние петарды. Вздрагивала, пугалась, как сейчас, до мурашек по всему телу. Шагнула к окну баба Поля, остановилась, достала из-под кровати топор. В комнате запахло потусторонним присутствием. На табурете никого, но баба Поля чувствовала душой, она не одна. Рукоятка топора вспотела в ладони, заскользила, ожила, нагреваясь, как и поднималось давление в крови бабы Поли, зашумело в голове. Запульсировало в висках и перед глазами. Топор, комната подстроились под удары сердца.

Баба Поля сказала громко:

— Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной. Укроти врагов.

Тут дверь и вышиб одним ударом кирзового сапога худой мужчина в пластмассовой помятой маске Белоснежки, следом за ним в комнату заскочил кривоногий коротышка с черным чулком в сеточку на голове.

Баба Поля не успела испугаться. Подняла топор и шагнула к воришкам навстречу.

В полиции позже они будут рассказывать, что испугались не столько старухи с топором, хотя она их с порога ошарашила, сколько того, кто стоял за ее спиной.

— Черт, высокий, бородатый, с глазами, как блюдца, — брызгал слюной Чулок в сеточку.

— Какие блюдца?! — возражал зло Белоснежка. — Глаза как щели в пропасти и красным внутри огнем горят.

— Горят, только не красным, а зеленым, ты дальтоник просто, — возражал Чулок. — Еще скажи, что рогов у него не было!

Белоснежка стучал по своей бритой голове:

— Ты с боярышником перебрал, не было у него рогов! Это у тебя рога, тупая ты башка.

— Ага, тогда табурет ты сам себе под ноги поставил?..

Грабители-неудачники спорили, пока их не закрыли в камеру, и там продолжили спор.

Капала ли с топора бабульки кровь? Двигалась табуретка по полу сама или ее нечто хвостом пододвинуло? Спорили, пока не разодрались, поставив друг дружке по синяку, утихомирились, Чулок пообещал в церковь сходить и вообще теперь он в Бога уверовал, Белоснежка еще не разобрался в своих чувствах. Но что-то в комнате 31 бесспорно было из области фантастики.

Почему решили ограбить старушку? Пацаненок какой-то нашептал, что у старухи в комнате золото-брильянты, вот и повелись безработные дуралеи. Приняли для храбрости настойку боярышника неразведенную и поднялись на второй этаж к комнате 31, а их тут уже ждали. Баба Поля с топором и кто-то за ее спиной. Кто-то и подсунул табурет под ноги Белоснежке, воришка споткнулся, спиной полетел на своего напарника, который сам еле на ногах стоял, так они кубарем и выкатились из комнаты. Прямо в ноженьки полиции. Тот самый пацаненок стражей порядка вызвал. Раскалялся. Плакал.

Баба Поля стояла с топором в руках, пока не приехала сестра. В комнате больше не пахло присутствием чуда. Да, баба Поля для себя схоронила, затесью, что с ней произошло чудо, и его запах останется в ней до самой смерти. Сладковато-мятный, теплый. Фиалковый.

Сестра приехала в первом часу ночи, растрепанная, ненакрашенная. Вошла в полуоткрытую дверь, не замечая молодого полицейского, строго косившего на нее в коридоре.

Баба Поля сидела на кровати в обнимку с топором, она впервые не могла вспомнить, как правильно заканчивалась молитва, что зазубрила с детства.

Вот те нате, сетовала про себя баба Поля, и ведь не испугалась, чтоб со страху забыть самое важное на свете.

Перед приходом сестры увидела, как по табурету — его подняли полицейские, он странным образом попал под ноги воришкам — проскакал радужный зайчик, какие бывают, когда случайный луч солнца отражается от очков для чтения. Очки лежали на столе, а вместо солнца лампочка над головой в сто ватт. Зайчик спрыгнул с табурета, запрыгнул к ней на колени, промчался по топору, и баба Поля едва успела увидеть, как он исчез в ковровом лесу за ручьем, где пасутся олени и таится дверь в фиалковое детство бабы Поли.

Улыбнулась баба Поля, если бы не милиционеры, она бы легла на бочок лицом к ковру и помчалась бы следом за чудо-зайчиком туда, где все бы только начиналось...

Сестра села в ногах бабы Поли, погладила ее руки, сказала:

— Прости, сестра. За все прости меня, дуру! За родительский дом, что потеряли,

прости. За племянников, которым позволила так с тобой поступить. За все эти годы тут, в этой кунсткамере, прости. Прости за мои слова, за каждое слово, хочешь, я буду просить у тебя прощения на коленях за каждое слово! Букву!

Встав на колени, сестра заплакала в голос. Молодой полицейский заглянул в дверь и тут же скрылся.

— Я же на самом деле люблю тебя. Ты же это знаешь, ведь правда, знаешь? Веришь?

Баба Поля убрала топор, положила на кровать за спиной, пригладила растрепанные волосы сестры. Поцеловала в макушку.

— Конечно, знаю.

— Ты ничего отсюда не бери, только если самое необходимое, — всхлипывая, икая, говорила сестра. — Будем жить вместе, как в детстве, помнишь?! В одной комнате... Я пить брошу, я ведь не какая-то там алкашка... Просто мне тебя не хватало, а я не знала, как признаться самой себе, что я без тебя не целая, половинчатая. Стыдно, и сейчас стыдно, что целых пять лет мучили тебя...

Гладит голову сестры баба Поля, и исчезают в ней все годы, сотканые из слез и тревоги, из страха и потерь... А волосы сестры пахнут детским шампунем и яйцом, она знала, сестра для пышности шевелюры втирает сырые яйца в корни жидких волос. Засмеялась баба Поля. Сестра оторвала голову от ее колен, посмотрела в глаза:

— Не говори только, что не поедешь жить ко мне! Это ведь и твоя квартира. Все, что мое, — твое!..

— Яичко я для тебя специально покрасила одно в золото. Думала похристосоваться...

Сестра встала.

— Так и у меня для тебя в холодильнике яичко и сахар тростниковый... Собирайся, хотя на такси поедем, можешь и так, в халате. Потом за вещами приедем. Хочешь если, топор возьми.

Баба Поля запахла халат, подмигнула сестре:

— Топор назад надо вернуть. Не мой он, снизу... Я возьму вот, — баба Поля подняла табурет, про себя она будет называть его табурет Достоевского, прижала к груди и на секунду потерялась в мирах большого мира. Секунды хватило, чтобы отыскать себя, ту счастливую, живущую в фиалковом вечном лете, и взять ее за руку, притянуть к себе, обнять. Обрести.

— Так у меня табуреток куча, и все новые, — услышала баба Поля и вернулась, переполненная запахом фиалок, к сестре, в комнату, в которой ей больше не жить.

— Это особенный табурет...

— На нем Достоевский сидел, — уверенно предположила сестра.

Не ответила баба Поля, сердце не могло насытиться любовью и прощением. Баба Поля простила всех. Простила себя.

Молодой полицейский спросил еще раз, будет ли она писать заявление о вторжении? Баба Поля попросила его отпустить бедолаг.

— Отпустят, — выдохнул полицейский, — если такое дело.

Был час ночи, сестры закрыли дверь комнаты 31, и баба Поля в последний раз оглядела коридор, где сегодня на удивление горели все лампочки. Соседский мальчик ждал ее на лавочке у окна. Увидев бабу Полю, подошел почти на цыпочках, молча сунул ей что-то в карман куртки-ветровки.

— Чего не спишь? — спросила сестра.

Мальчик промолчал, заскочил в свою комнату, и ответом стал щелчок замка.

— Дикушные тут все какие-то, — сказала сестра. — Давай я табурет твой понесу.

— Сама. — Баба Поля взяла для удобства табуретку за ножку, правой рукой залезла в карман.

— Что там?

Они спустились по темной лестнице, справа вахта и пожарный щит. Топор молоденький полицейский вернул на прежнее место.

Вышли на улицу, такси ждало у входа.

Сестра села с водителем, баба Поля с табуретом разместились на заднем сиденье.

Когда поехали, сестра снова спросила:

— Так что там он тебе положил?.. Не бомбу же?.. От таких зверьков всякое можно ожидать.

— Да какой он зверек, — голос бабы Поли дрожал от накатившихся слез. — Птичка, как есть птичка-невеличка.

На ладони у бабы Поли, вздрагивая и подпрыгивая на каждой кочке, в темноте салона поблескивало, радужно переливаясь, пасхальное яйцо с золотистыми буквами ХВ.

— Воистину воскресе, — прошептала баба Поля и вспомнила вылетевшие из головы слова молитвы.

Водитель прибавил газ, и скоро такси выехало на главную дорогу к городу. В другой мир.

Комната 26

Царапины и новый Адам

Он и Она

Это она нашла комнату.

— На окраине города, жизни и верности, — описала место, где им предстоит встречаться в обговоренное время, ни минутой позже, ни минутой раньше, два дня в неделю: — Среда и пятница для начала, — предложила.

Ева. Так она попросила ее называть.

Он спросил: Ева — твое настоящее имя?

Она словно задумалась, закатила глаза цвета зеленого перламутра.

— Мы же вроде договорились, минимум вопросов, — поправила иссиня-черную челку, нежно прикоснулась к ресницам на правом глазу. — Вопросы рожают подозрения.

Он кивнул, не понимая толком, о чем она.

— Загадочное имя. Мне оно с детства казалось каким-то запретным что ли...

— Первая женщина, соблазнившая Адама, водившая дружбу со Змеем и все такое?.. — Алые губы приоткрылись в интимной улыбке. — Понимаю. Мужчины, должно быть, подсознательно испытывают страх к такому виду женщин. Их к ним смертельно влечет, потому что власть и сила притягательны, сексуальны до безумия...

Он только и делал, что кивал, и не знал, куда деть глаза, они то непослушно забирались в открытый вырез платья на груди Евы, то впивались в мякоть ее пухлых губ.

— Да, Ева была сильной женщиной, — слотнул слюну, спросил. — Тогда, может, я буду Адамом?..

Она сдвинула к переносице паутинки бровей.

— Оставайся лучше Сергеем, — и провела языком по белым, ровным зубам. — Адам, честно сказать, — слабак.

Сергей не смог не улыбнуться:

— Ради таких Ев я бы стал самым слабым мужчиной на Земле. С условием, что Ева будет вся, целиком и полностью моей. Моей и точка.

Ева щелкнула пальцами перед его носом:

— Ответ неверный.

Мужчина заметно растерялся, задергалось левое веко, покраснели щеки, Сергей нервно потер взмокшие ладони:

— Я-а-а, — начал заикаясь, — я только чтоб тебе...

Она перебила:

— Я говорила — нет? — что не люблю презервативы?..

Сергей раскрыл рот, но не выдал из себя ни звука.

— Нам в жизни очень часто приходится делать то, чего мы не любим, — рассмеялась.

Ее смех, отметил про себя мужчина, заразительный. Напряжение вмиг поменяло полярности. И новое напряжение росло, наливалось соком и кровью. Сергей нервничал уже по этому поводу.

— Вы с моей женой такие противоположности, — заговорил с придыханием. — Она не умеет шутить и шуток не понимает. Юмор ей противопоказан. Из области фантастики. Будет что-то, если она рассмеется над моей остротой.

Оценивающий взгляд Евы был нагло откровенен.

— Вот чего я точно не люблю, остряк, так это когда мужья обсуждают своих жен. Осуждают особенно!

— Я-а, — поперхнулся Сергей, — нет, нет, я просто хочу показать, что доверяю тебе как никому. С первых наших мимолетных встреч я ощущал это. Меня тянуло к тебе, не поверишь, но я храню твой волосок. Я снял его с твоего плеча и спрятал в книгу.

Ева, несколько не удивившись, хмыкнула:

— Что за книга?..

И вновь Сергей завис в неловкой паузе.

— Лю-у-лю-у-у, — вспоминал, — любовник, любовник леди...

— Чаттерлей, — закончила Ева.

— Точно, да! Она самая.

— Знаково, — коснулась она золотой цепочки, провела по шее ногтем, оставляя розовый, возбуждающий след. — Читал?..

— Ой, да что ты, нет! — отмахнулся Сергей. — Я такое не читаю. Открыл случайно, а там на всю страницу про это... Ладно бы просто о сексе, не вопрос, там все про член, да член...

— Ха, и поэтому ты спрятал мой волос там?.. Где про член?..

Большими ладонями он закрыл лицо.

— Боже, ты просто убийственна! — Взмолился: — Просто наповал, я теряюсь, как школяр какой. Ты богиня! А я-а-а... Я хочу быть с тобой!

И она сказала:

— Будешь.

Он

Ему стали сниться эротические сны сразу после регистрации брака.

На изломе детства не было ничего подобного. А здесь каждую ночь — яркие, фонтанирующие, запоминающиеся сны. Порой ставившие его в неудобное положение перед женой.

Сергей стеснялся снов. Обнаженным, обезоруженным, высосанным — таким он чувствовал себя утром после невероятной эквилибристики с неизвестными молодыми женщинами без запоминающихся лиц.

Лиц не было, только рты. Губы с разным цветом помады.

Черты лица прояснились после встречи с ней.

До того как он узнал ее имя, Сергей звал ее «журналистка». Он приезжал в редакцию газеты «Вечерняя среда», менял картриджи, проверял работу принтеров, тут и зацепился глазами, сердцем, душой, которая, по его ощущениям, перебралась в низ

живота и зашевелилась, ожила, потянулась к женщине с фантастическими данными, такое определение дал он журналистке, встретившей его в дверях.

Он вспоминал, как растерялся от взгляда ее глаз и запаха духов или это был запах ее силы, страсти, женственности...

— Я-а-а, — искал поддержки в лице знакомой секретарши или кого из техников, в редакции словно все вымерли.

— Я вас помню, вы из сервисного обслуживания, картридж привезли.

Сергей выдохнул:

— Так точно.

И специально забыл оставить бланк заявки, чтобы вернуться за ним в редакцию на следующий день.

Сны за границей штатной эротики прекратились после первой встречи в комнате 26, на окраине города, жизни и верности.

Она

Евгения с детства не любила свое имя и не могла объяснить почему. Подростком подозревала, что все дело в близняшкостях с мужским именем.

Потом терпеть не могла, когда одергивали грубо — Женька!

Так в институте, на факультете журналистики, появилась Ева. Соблазнительная и неприступная.

В «Среде» проработала меньше полугода, в планах — а цели у Евы были с размахом — «Областная газета» и редакторство.

В «Областной газете» сразу попала на должность ответственного секретаря, через месяц после увольнения из городского еженедельника, а через два года — кожаное кресло редактора ощутило на себе все изгибы и тонкости фантастического тела Евы.

Пока же она смотрит в оленьи глаза стесняющегося мужчины с испачканными в черном порошке ладонями, говорит:

— Туалетная комната дальше по коридору.

Она замечает обручальное кольцо, раннюю седину на висках, очаровательный шрам на выбритом до пепельного цвета подбородке, мягкую картовость и огромную неудовлетворенность. Ее Ева научилась распознавать в мужчинах с одного взгляда. Достаточно пары минут, нескольких слов, телодвижений, жестов, и она знает, что этому мужчине нужно, чего не хватает и как ему в этом помочь.

Сергей, она все о нем узнала от секретарши Марины, живет в браке одиннадцатый год. Ему сорок два, у них дочь Маша, учится в начальной школе. Жена Алёна старше его на два года, преподаватель черчения и рисования.

Секретарша подвела итог, эротично вздыхая:

— Верный муж, повезло Мымре.

Верный — выстрелом шарахнуло в крохотной приемной редакции до звона в ушах. Ева сощурилась.

— Я не верю в мужскую верность, — чуть ли не криком. — Верные только лебеди.

Марина красила ногти черным лаком.

— Этот — исключение, я пыталась, безрезультатно, а с женой его в школе учились, такая гонза.

Ева не стала больше ничего говорить, спрашивать. Она знала, завтра он снова придет, потому что увидела его жадный взгляд и как он нехотя уходил, сжимая кулаки...

Назавтра она пришла в редакцию в кофе с глубоким вырезом.

Он и Она

Ей нравятся слова «влечение», «вожделение», «похоть». Терпеть не может словосочетание «заниматься любовью».

Ему нравится, что она экспериментирует в постели, и не нравится, когда молчит.

— Боюсь твоей тишины, — курит у окна в форточку, пару минут назад она заставила его надеть трусы, а теперь молча смотрит в потолок, укрывшись простыней по горло.

Затушил сигарету в пустой сигаретной пачке, пролез к ней под простыню, поцеловал в плечо:

— Не молчи, ну...

Лег на спину, и вместе они смотрели в давно не беленный серый потолок в трещинках и трещинах.

— Почему двадцать шесть? — спросил вдруг. — Число какое-то никакое, ни туда, ни сюда...

Ева молчала.

— Комнат других не было, да?.. Мне число семь нравится, оно многим нравится, наверное, оттого что считается божественным.

Женщина рядом не дышала.

Сергей говорил:

— Ты вот все обо мне знаешь, а я о тебе ничего, даже не знаю, твое это имя или так... Это у тебя, видно, профессиональное, вы, журналисты, всегда не договариваете, да и вообще любители пудрить мозги таким вот лохам, как я.

Он просунул руку под ее голову.

— Моргни хоть...

Она не моргнула.

— Хотя два плюс шесть дает восемь. Восемь напополам две четверки. Как раз по четверке на нас двоих... Но тебя же четверка не устроит, да?.. Только пять. Все должно быть на отлично. По высшему разряду. На пять с плюсом.

Другой рукой нашел ее ладонь, сжал.

— Чувствую твой пульс, сердце колотится, будто ты бежишь. Ты бежишь куда-то? — Привстал и спросил громче, с испуганными нотками в голосе: — Убегаешь? От кого? От меня?..

Ее улыбка уложила его обратно в кровать, на спину. На лопатки.

— Уже лучше, люблю, когда так улыбаешься. Не люблю, когда молчишь, вот так, ни с того ни с сего...

Молчали вдвоем недолго, минут пять, не больше, потом Сергей спросил про ключи:

— У тебя и у меня, больше ни у кого нет ключа от комнаты? Это ведь наша, только наша комната?!

Она моргнула.

— Два ключа, обычно их три в связке, третий, что, у хозяина?.. Он же не заявится негаданно?.. Без предупреждения?! Или что, это твоя комната?.. Ну, Ева. — Он повернул нежно ее голову к себе, посмотрел в глаза: — Я что, много говорю лишнего?..

Ева снова моргнула, но ответить он не успел, слова утонули во влажности ее губ.

Он

Они встречались восемь месяцев, когда Сергей во сне впервые произнес ее имя. Утром жена спросила про Еву. Муж в этот раз не растерялся, ответил:

— У меня и знакомых-то с таким именем нет.

Жена налила себе кофе.

— Ты, задыхаясь, прямо молил эту Еву продолжать, — хохотнула.

— Что продолжать? — Сергей протянул Алёне кружку. — Плесни мне.

Она ответила:

— Ты у нее спроси — что.

- Про кого это ты?
- Мне на работу пора, — отстранила руку с пустой кружкой жена, — некогда.
- Ты что, реально злишься из-за того, что я во сне там наговорил?! Тем более я вчера выпил на работе, сама знаешь, премию дали. Что за Ева?.. Откуда?..
- От верблюда! Я же всяких Адамов не прошу перестать по ночам во сне?!
- «Адам» из уст Алёны напугал, Сергею показалось в эту секунду, что перед ним Ева в облики жены. Что они как-то чем-то связаны. Такие непохожие и такие целостные. Объединенные жадной мести неверному мужу, мужчине.
- Точно! Это из фильма. Актриса это, точно! Ева Грин или как, с такими цветными линзами... «Город грехов-2» вот, фильм, вспомни!.. — протянул ей кружку. — Там она играла, полфильма голышом проходила, Ева Грин!..
- Алёна забрала кружку.
- Мы договаривались быть честными друг с другом, и если что-то пойдет не так, обсудим это открыто.
- Сергей подошел к жене, обнял.
- И мне не нравится имя Ева, какое-то оно не наше. — Поцеловал в голову.
- Хорошее имя, «дающая жизнь» означает, — ответила жена, ушла, оставив пустую кружку на краю стола.

Он и Она

- До общежития из города добирались разными путями.
- В поселок ездил один автобус, поэтому Сергей приобрел расписание маршрута и уходил с работы строго согласно ему.
- Ева приезжала на редакционной машине.
- Это общежитие давно снести собирались, читал, чуть ли не в твоей газете, — серьезно говорил Сергей.
- Оно еще город и всех нас переживет, — отшучивалась Ева
- Мрачное жилище, пристанище.
- Сердце города грехов.
- Ударом под дых дежавю. Сергей выбрался из кровати, натянул, не застегивая, джинсы, прикурил у окна.
- Почему город грехов вдруг? — глубоко затягиваясь.
- Скажем так, все мы не без греха.
- Струйка дыма отправилась в форточку, в сумерки. За окном трубы комбината — стража города грехов. Посмотрел на любовницу: в тусклом желтом свете бра Ева тем, как она сейчас лежала, заломив голову, напомнила жену. В редкие моменты близости Алёна запрокидывала голову назад и вбок, волосы падали на лицо, она закрывала глаза.
- На тумбочке у кровати бутылка вина, два стакана, блюдо с дольками фруктов.
- Сергей стрельнул бычком, звездочка в синеве вечера, вернулся, разлил остатки белого сухого, Ева пила только такое вино, подал ей стакан.
- Сегодня звал тебя во сне по имени, — звякнули встретившиеся стаканы, — просил продолжать.
- Ева выпила первая.
- Так продолжай.

Она

- То, что она у него первая любовница, Ева знала, он мог ей и не говорить. Она знала больше — что она у него и последняя.
- Он у нее не первый, и это он знал, хотя она этого не говорила.
- Я не замужем, и это главное, — как всегда шутила. — Может, лет в пятьдесят и решусь.
- Он считал, демонстративно, на пальцах:

— Ого, мне тогда будет пятьдесят шесть.

Ева смеялась:

— Я не боюсь старости.

В двухкомнатной квартире, доставшейся ей от бабушки, портреты женщин всех возрастов — все близкие родственницы.

Ева обожает бабушку. У нее на могиле не успевают вянуть живые цветы.

А по словам бабушки, внучка просто копия прабабки Серафимы.

— Та была неопишуемой красавицей. Все мужики по ней с ума сходили, в монастырь уходили, да, и такое было, стрелялись на дуэлях, а двое покончили с собой, отвергнутые прабабкой.

Мужских фотографий не было.

Бабушка рассказывала, одинокими жили и умирали в одиночестве женщины в их роду, из поколения в поколение передавалось это проклятье за их красоту.

— Красивое всегда неверное, непостоянное... Есть такая красота, губительная. Все разрушающая...

Внучка разглядывала лица прапрабабок, восхищалась сходством, общими чертами, нисколько не задумываясь, не переживая о всеединой несчастной судьбе.

Он и Она

— Приснилось, я обнаженная позирую твоей жене. — Закуталась в простыню, взяла у Сергея из губ сигарету, затянулась.

Любовник поднялся на локтях,

— Как позировала?

— Рисовала она меня, с натуры, — всунула обратно сигарету в губы Сергея. — Вроде как у вас в квартире, похоже, что на огромной, без краев, постели.

— Блин, что за сон, — встал, голый подошел к форточке.

— Она привлекательная, скажу тебе.

Он поперхнулся, закашлял.

— Ты где ее видела-то?

— Во сне, не тупи, Серый.

— Откуда узнала, что это она?..

— Оттуда! Во сне ты просто знаешь, и все. И наяву так бывает: вот знаешь ты это из ниоткуда. Знаешь, и точка. И надень трусы!

Отвернулась к стене в желтых обоях с непонятным геометрическим рисунком, замолчала.

Сергей докурил, присел у изголовья.

— И как портрет? Или она тебя всю рисовала. Ах, точно, ты же разделась...

Ева не отозвалась.

— Лесбийский какой-то сон, скажу тебе.

— У твоей жены есть размытое, нечеткое родимое пятно под левой ягодицей? — повернулась Ева. — Как у Горбачева, только не на голове, а намного, намного ниже, — сверкнули белые зубы.

Сергей смог выдавить:

— Да ладно...

Она

Конечно, не мечта всей жизни, но Ева хотела, чтобы ее запечатлела кисть художника. Этим и объяснила она свое сновидение. Сергей никак не мог успокоиться:

— Родимое пятно?! Как?! Догадаться?.. Быть такого не может. Случайное совпадение?..

Ева обрывала его догадки:

— Вещий сон, успокойся, жизнь такая веселая штука, никогда не знаешь, что преподнесет завтра.

Мать Ева не застала, «умерла сразу же после родов, бедняжка, от старой болячки», — рассказала бабушка, заменившая родительницу.

На память о матери осталось одно лишь ненавистное имя — Евгения.

Отца, как и все женщины рода, Ева не знала. Рожали детей для себя, без обязательств со стороны осеменителя и уз связующих...

— Мужчина в дополнение, не более.

Ева слушала бабушку, спрашивала:

— И я, получается, не выйду замуж?..

Бросала на картах бабушка: что было, что будет, что на сердце, что под сердцем, чем сердце успокоится.

Девочка терпеливо ждала результатов, вслушиваясь в дыхание бабушки и тиканье секундной стрелки настенных часов.

— Ищи, — получала ответ, — как и все мы, ищи. Найдешь — почувствуешь. Узнаешь. Это как проснуться.

В институте шутила с одногруппницами:

— Мне на роду написано блядью быть. А против судьбы и природы не попрешь...

Бабушка разгадывала сны, расшифровывала до мелочей.

— Она бы объяснила, к чему такая страсть приснилась.

Сергей ответил:

— Может, Алёна подозревает?.. Так-то она недалеко...

Ева стрельнула перламутром глаз:

— Не при мне. Близкий ты наш.

— А если скажу, что хочу развестись и сделать тебе предложение?

Любовница ответила, не задумываясь:

— Попробуй.

И вспомнился скрытый от любовника кусочек сна.

— Попробуй, — шепчет она на ухо художнице.

Краски приходят в движение, текут, смешиваются, капают с холста. Воск свечей стекает с подсвечников...

Он

О разводе думал после каждой встречи в комнате 26. Приходил, возвращался с темной в квартиру к жене и дочери, шел в ванную, там под струями горячей воды пытался разложить будущую жизнь по полочкам.

Начинать жизнь с нуля, в сорок три, с женщиной тайной? — на первой полке. Продолжать обманывать и отравлять семью выхлопами неверности? — занята вторая полка.

На третьей полке — признаться жене, молить о прощении?

И последняя полочка — оставить Еву?

Обжигала мысль похлеще кипятка.

— Я не смогу без нее, — говорит в шуме воды: — Она моя болезнь.

Мужчина заболевает женщиной, когда ощущает в ней свое продолжение. Когда запахи приятны только в компоненте друг с другом и можно молча понимать все о желаниях и не хотеть большего... Если эта болезнь обоюдна, на двоих, вот вам и настоящая любовь, и крепкий союз до гроба.

Болезни вылечиваются, проходят... Раны затягиваются, заживают... Остаются следы...

— Не хочу, чтобы ты стала следом, — прошептал на ухо Еве, все еще оставаясь в ней. — Хочу слиться с тобой в целое. Неразрывное...

Она ответит ему несколько дней спустя, на этом же месте под легкой простыней, в той же позе. Ева скажет:

— Мы уже наследили. Не сотрешь. Разве что только стерев одного из нас с лица земли.

Сергей не понял, о чем она. У Евы не было настроения вдаваться в подробности. Мелочи нам говорят намного больше целого.

Он и Она

На их юбилей — год отношениям — в комнату впервые постучали.

Сергей инстинктивно бросил взгляд на окно.

Ева подмигнула.

— Муж пришел, — прошептала. — Со второго этажа сможешь спрыгнуть?..

Зрачки любовника увеличились.

— Пойти открыть? — спросил тихо, заговорщически.

— Вдруг жена, — отбила охоту Ева.

Еще один неуверенный стук и голос:

— Соседи! Будьте соседями! Займите чирик до получки!

Она громко, несдержанно рассмеялась.

— Возьми у меня в кошельке, — велела. — По голосу слышно — угорит соседка.

Сергей недовольно заворчал:

— Может, вина ему налить еще? — съязвил. — Ты что, его знаешь что ли?..

— Дурак.

За дверью голос возвестил:

— Блаженнее давать!.. Может, полтинник найдется?..

Сергей приоткрыл дверь, просунул соседу пятидесятирублевую купюру.

— Меня Гришей зовут, с двадцать девятой я, — пробурчал, забирая трясущимися руками драгоценную бумажку.

— Адам с двадцать шестой, — закрыл дверь Сергей.

Она

Человек живет множествами жизней. На работе — одной, в компании друзей — второй, с семьей — третьей...

Ева не позволяла стираться границам жизней. Все четко расчерчено, разделено. Шаг влево, вправо — расстрел. Никаких поблажек, исключений. Крохотные отступления, вот основная причина бедствий всех уровней и катастроф человеческого существования.

Случай — двигатель жизни. Ева жила по принципу: «все что ни делается, для чего-то нужно и важно». Даже подножка может стать пьедесталом к новому и большему.

Отношения, любые, самые невыносимые и неприятные, открывают в тебе другого тебя.

Любовь возможна, пока ее ищешь.

Верность должна быть проверена. Лебедь разбивается оземь, теряя любимую.

Все мы носим свое наказание в себе.

Сны никогда не врут. Они раскрывают нам нас.

Он

О встрече договорились, как и всегда, заранее. Очередное свидание в пятницу, ровно, ни минутой раньше, в шесть вечера. Сегодня четверг, время — начало пятого, Сергей отпросился с работы, едва не опоздал на автобус до поселка, выкурил на лавочке у общежития три сигареты, разглядывая редких прохожих, потом не спеша поднялся в комнату 26.

— Зачем? — спрашивал себя. — Чтобы проверить, не изменяет ли она тебе?

Воображение рисовало короткометражки: непристойные, мерзкие, болезненные...

— Почему именно в эти дни? В это время? Что за секрет?

Заранее приготовил ключ, еще на улице. На ключе нацарапаны номер 26 и сердечко.

— Хотела что попохабней, но похабней не придумала, — объяснила она появление сердца на ключе.

Дверь окрашена белой краской, номер написан красным.

Щелкнул замок, раз и два, на третьем повороте ключа вошел.

— Дебил, — поставил диагноз.

В комнате застыли в ожидании любовников вещи и предметы.

Застеленная, убранная кровать манила воспоминаниями. На подоконнике импровизированная пепельница — банка из-под пива...

— Ева, — позвал.

Подошел к кровати, сел на край постели, погладил прохладное покрывало, лег на живот, вдохнул легкий запах их тел. Ее духов, его одеколону...

— Ты меня убиваешь, — прогудел в подушку, — сука.

Она

Сергей спрашивал, любит она его? Ева всегда отшучивалась, не отвечала ничего конкретного.

— Бабушку люблю, это наверняка и неизменно.

Любовь — слово не из любимых. Не из ее обиходного лексикона.

— Узнаешь, — говорила бабушка, — найдешь — почувствуешь. Это как проснуться.

Ева ждала, искала. Каждая командировка в столицу, за границу — как новый виток в поиске любви...

Она не любила, чтобы ее провожали, любила встречи. Сергей обижался, надувал по-детски щеки:

— Не хочешь, чтобы нас вдвоем видели, так и скажи.

Ева не отступила.

— Встречай через три дня с цветами. Встречи важнее прощаний.

Сергей подозрительно оглядывал ее:

— Точно командировка?.. У меня последние месяцы какие-то чувства ненормальные, картинки всякие...

Она чмокнула его в щеку.

— Не повторяй ошибку Адама, — прошептала в ухо.

— При чем тут Адам?! Ты же не изменяешь мне?..

Спасением стал голос, объявивший о начале посадки на рейс до Москвы.

В самолете, устроившись у иллюминатора, достала из сумочки ключ, с выцарапанным номером 26 и сердечком.

— Я уже скучаю, — держал он ее руку и не отпускал. — Ты, знаю, не скучаешь по мне, я же слабак. Ты права, Адам был слабаком. Все мы, Адамы, такие.

Она хотела сказать, что не все. Не сказала. Не успела.

Сергей заплакал.

Он и Она

Постельные диалоги, так она прозвала их беседы после пары маленьких смертей. La petite mort.

— Мужчины тоже имитируют оргазм, знаешь? — спросила как-то.

Он поперхнулся кусочком мандарина.

— Точно не я.

Ева смотрела в потолок,

— Трещины, сколько их ни замазывай, закрашивай, они все равно проступают...

Со временем, но трещина проступит...

— Это ты к тому, что мы трещины друг друга?..

Она перевела взгляд с потолка на обнаженную спину любовника. Сергей прикуривал.

— Скорей, царапины, — ответила, — царапины, как те, что на ключах. Я их гвоздем делала, ржавый такой гвоздь, не знаю, как он, откуда в руки мне попался. Выцарапала, чтоб не забыли.

— Ты и на сердце у меня нацарапала. Хочешь, покажу?..

— Сердце?..

— Да, оцарапанное?! Выцарапанное...

— Давай.

Она

В Москве снова приснилась его жена.

Если не хочешь долгих отношений с человеком, не узнавай его имени, не открывай своего. Трудней убивать, когда знаешь имя.

Они в комнате 26.

Ева, обнаженная, на разобранной постели, среди цветов и подушек. Вместо привычного торса Сергея — белоснежная податливая грудь его жены.

— Попробуй, — стекает с губ Евы.

— Ева — твое настоящее имя? — вкрадчивый, томный голос жены. Алёны.

— Евгения, — говорит Ева и просыпается с именем во рту.

А внутри продолжается сон, в котором она видит мать в точности как на старых, пожелтевших фотографиях.

— Мама? Почему ты меня так назвала? Дала такое имя? Почему?..

Мать говорит, не открывая рта. Ее слова звучат в голове Евы.

— Так звали твоего отца, — растворяется в дочери голос матери. — Ты — это память о нем.

Он

Алёна заметно изменилась. Повеселела, шутила.

— Бог мой, ты шутишь?!

Сергей не сразу заметил новую стрижку, не обратил внимания на французский маникюр и нижнее белье, откровенно-прозрачное.

— Она знает, — разговаривал как всегда под душем. — Она готовит атаку. Отмщение.

На всякий случай удалил эсэмэски от Главного, их он любил перечитывать в такие одинокие дни командировок Главного и вспоминать.

Мы все пленники воспоминаний. Рабы памяти. Фантазий. Хорошая фантазия — лучший друг мужчины, особенно в одинокие дни...

Алёна стала задерживаться на работе, и Машу приходилось забирать ему.

— У мамы допээз? — интересовалась дочь.

— Что еще за допээз?..

Девочка стучала отца по руке.

— Па! Ну, ты даешь. Мама же всегда так говорит. Дополнительные задания.

После допээз жена приходила в приподнятом настроении, смеялась, рассказывала анекдоты.

— Она тебе изменяет, — нашептывал мерзкий, писклявый внутренний голос. — Точно у нее кто-то появился. Посмотри, как она счастлива. Ты не мог научить ее смеяться, и вот пожалуйста, нашелся тот, кто нарисовал улыбку на ее лице. Кто разбудил ее? Научил сверкать! Сергей не решался спросить у жены о переменах. Язык онемел, попытайся он сказать ей: «Ты мне изменяешь?!»

Звонил среди ночи Еве, чтобы рассказать, спросить совета, поддержки:

— Как поступить?..

Номер телефона Евы был недоступен.

А через день все разрешилось само. Как часто и бывает.

Она

Мысли закрадывались еще с института — разыскать отца. Реальность побеждала. Найти родителя не удастся. Но она попробует, решила. Она ведь всегда добивается своего.

У стойки ресепшна гостиницы толкотня, приехала команда школьников на олимпиаду по истории.

Администраторы загружены оформлением новых гостей.

— Мне номер сдать, — пытается перекричать какофонию детства, непосредственности, задора и громкого счастья.

— Оставьте ключ на стойке, я заберу, — кричит в ответ крашенная блондинка.

Евгения так и сделала.

Переполюсь сладостным ощущением уже виденного, прожитого...

Ключ с выцарапанным номером и сердечком остался навсегда в пяти тысячах километров от замка комнаты 26.

Он

Точно такой же ключ нашел Сергей, осмелившийся проверить сумку жены. Она вернулась с очередного допэзэ, сразу проскочила в ванную, и теперь он слышал, как она там напевает и, о небеса, насвистывает.

Ключ лежал в кармашке с другими ключами. Этот он не мог не узнать.

Сначала подумал, это его ключ, что Алёна нашла его и теперь предстоят долгие, выматывающие беседы, море лжи и, конечно, слез...

Бросился к своей барсетке, в потайном отделении обнаружил близнеца.

Сравнил ключи, на обоих номер 26 и сердечко — чтобы не забыли — сделанные ржавым гвоздем.

В ванной — самый настоящий концерт, с барабанами, хлопаньем в ладоши. Вскриками «о-у-е!» и «давай-давай!».

Он, с одинаковыми (проверил каждый изгиб) ключами в большой мозолистой ладони, посреди спальни. Стоит у аккуратно застеленного белоснежным, как чистый холст, покрывалом супружеского ложа.

Растерянный, потерянный, ничего не понимающий, заблудившийся...

В точности как первый человек на земле.

Комната 25

Побег

Мать? Он никогда так ее не называл. Мама, мамочка, мамуля.

Нина Николаевна не могла вспомнить ни одного случая, когда бы сын нагрубил ей.

Как-то, сразу после своего восемнадцатилетия, пришел домой поздно ночью, пьяный, еле на ногах стоял, перепачканный в грязи и блевоте. Нина Николаевна молча сняла тапочку и хлестнула сына несколько раз по спине. Он не уворачивался, кивал, обещал, что больше таким она его ни в жизнь не увидит. И мать была уверена, сын сдержит слово.

В поезде вспомнился вдруг этот случай, а потом она услышала кукушку.

Сначала подумала, может, у кого на телефоне такой звонок... Осмотрелась, плацкартный вагон тревожно спит.

Да и какая кукушка в поезде?! Но Нина Николаевна слышит ее тоскливое кукование. Издалека, из прошлого...

У нее нижнее боковое место, думала, что ночь потерпит, не заснет, но не успели отъехать от станции, как Нину Николаевну сморили размеренный стук и колыбельное качивание поезда.

Облокотившись на пыльное окно с пронсящимся однообразием полей, закрыла глаза. Кукушкин плач, а Нина Николаевна всегда считала, что не от веселой жизни серая птица горло до хрипа надрывает, унес ее назад, лет на десять, во времена цветения.

Сын рос, расцветал интеллигентным мальчиком. Так считали учителя в начальной школе, и соседи, и все знакомые, — твердили, как сговорились:

— Такой маленький интеллигент, скромный, аккуратный во всем, воспитанный, всегда улыбнется, поздоровается...

— Не матерится, — добавляла классный руководитель Тамара Иннокентьевна.

— Сумку поможет донести, — нахваливала баба Шура из двадцатой квартиры. — Мои внуки сроду сами не предложат, а Илюша чуть ли с рук не вырывает...

Нину Николаевну переполняла гордость за сына. Она ведь и не прикладывала чрезмерных усилий в воспитании. Читала на ночь добрые сказки, за столом просила не чавкать, желать здоровья тому, кто чихнул, говорить правду, даже если за нее попадет, и никогда не забывать маму.

Отца Илья не знал. Точнее, отец не захотел ничего знать об Илье. Бросил мимоходом Нине Николаевне — откуда мне знать, что этот ублюдок мой? Хлопнул дверью и растворился в Вечности. А маленький Илюша, Илья-подросток, ни разу не заикнется об отце. В саду и в школе с твердой уверенностью в голосе и в сердце будет заявлять: «Мой папа — космонавт». И каждую ночь, заметив летящую звездочку-спутник, грустно и глубоко вздыхать:

— Папа летит.

Нина Николаевна сама удивлялась поведению сына, видно, в точку попали с интеллигентностью, людям на расстоянии виднее. Только в кого он такой правильный, примерный?..

— От Бога это все, — смотрит мать на спящего сына, на сонные пузырьки в уголках губ, а душу давит беспокойство, сжимает в кулак, закручивает канатом непонятная тоска и страх. Скоро это закончится, шепчет, заползая в окно, темнота ночи, в тихом омуте черти...

Грохот встречного скорого вытолкнул Нину Николаевну из дремоты в душную плацкарту. Протерла залипшие глаза, свет притушен до минимума, в окне редкие огоньки, в голове тихое кукование.

— От стресса, недосыпания, от волнения, — успокаивает себя Нина Николаевна. — Ночью кукушки спят.

Только сердце ноет, и кажется это оно, сердце, кукует. Стук как ку. Ку-ку, ку-ку... Нина Николаевна приложила ладонь к груди. Кукование перебралось вверх по горлу в голову. Сердце стучало. Кукушка поселилась в голове.

Разбирать столик и ложиться требовал организм, ноги гудели похлеще поезда, спина затекла от шеи до копчика, во рту сухо... Нина Николаевна нащупала под столом бутылку воды, выпила почти всю, поджала ноги, уткнувшись головой в край стола, постаралась ни о чем не думать.

Не получилось.

Мысли страшные, будто не ее, перебивали голос разума, голос кукушки, сдирали свежие коросты... Эти раны не заживут никогда, кровоточащие, глубокие до самой души, пронзившие сердце насквозь раны.

Она дала имя каждой ране. Сын — самая бездонная и болезненная рана. Убийство — название второй раны, темной, черно-алой. Смертельной. Третья рана — место, название которого она не может, боится произнести.

Первый час в вагоне казалось, все знают, куда она едет. К кому, зачем, с какой целью...

Проводница взглянула как-то осуждающе, хмыкнула, глянув на фотографию в паспорте. Нина Николаевна, конечно, не похожа на ту сияющую, полную жизни и

смысла сорокапятилетнюю женщину. Тогда она еще не знала, что меньше чем через год жизнь остановится. Прервется. Кончится.

— В половине пятого утра Ангарск? — тихо, незащищенно спросила худая уставшая женщина с седой до корней волос головой.

Проводница испугалась, потом она расскажет своей напарнице, что ее словно ледяной водой окатил взгляд пассажирки с 51-го места.

— Как из потустороннего мира, и голос, и образ, косы в руках не хватает. Я спецом посмотрела дату рождения, она же еще не на пенсии даже, и в сорок пять на фотке огонь-баба, а тут передо мной скелет живой. Мертвец и ужас ходячий.

— Горе, видать, сломило, надорвало, — напарница пойдет будить единственного выходящего на станции Ангарск пассажира и не удивится, застав женщину глядящей, не моргнет, в ночь за окном.

— Через полчаса, — голос проводницы дребезжит жалостью и слезами. — Вы что, не ложились?..

Женщина покачала головой.

— Не до сна, — сказала.

Проводница забрала нераспакованный комплект белья, закрылась у себя в каморке и проревела до самой станции от нахлынувшего чувства одиночества. Утром при свете солнца она скажет:

— Женщина с 51-го сделает что-то непоправимое. Ужасное. Я тебе говорю, я прям внутренностями почувствовала это.

Нина Николаевна спустилась с поезда, и серость проглотила ее. Перрон, лес, здание вокзала, все, что между небом и землей, растворилось, обесцветилось, сравнялось в туманной пастели.

Шаги громким эхом разбивали стены подземного перехода, но нисколько не напугали кукушку. Нина Николаевна ловила себя на мысли, что жила всю жизнь с этим кукованием, просто не было времени расслышать его в себе...

До первого автобуса больше часа, в зале ожидания молодой солдатик мерит расстояние от окна до закрытого окошка касс дальнего следования.

У матерей особое чутье, Нина Николаевна в этом уверена, они знают, когда ребенок запутался, когда оступился и ему нужна помощь. Вот сейчас она смотрит на солдатика и по-матерински ощущает его волнение, натянутое на разрыв напряжение.

«Да, — говорит про себя Нина Николаевна, — чужих детей понимаешь, распознаешь их беды, а своего не услышала, не сберегла! Проглядела!»

Вспомнила, что не курила целых двенадцать часов в поезде, а еще вспомнила, что год назад дым сигаретный не переносила и представить не могла себя дымящей...

Нервно достала помятую пачку легких сигарет. Осмотрелась, всюду наклейки, запрещающие курение. Пришлось надевать рюкзак, выходить на улицу. В серость.

Курила быстрыми, короткими затяжками и никогда не докуривала. Илья был бы в шоке, увидев такую картину: мама с растрепанными волосами, ненакрашенная, с сигаретой, в окружении мусорных бачков в туманной дымке рассвета.

Солдатик спал, свернувшись на жестком железном сиденье, накрывшись с головой пятнистой формой. Нина Николаевна тихо села в углу, материнское сердце, преодолев десяток километров, отыскало родное сердечко. Сердцем увидела сына. Илья спал, и она осторожно, украдкой, одним глазком заглянула в его сон.

Кровь попала в глаза, обожгла, крик вытолкнул, оглушил.

Сердце вернулось, едва не расколотив грудную клетку. Слезы забурили, вспенились, полились через край.

Кошмарные сны им снятся теперь всегда.

— Мама, мамочка, мамуля, — Нина Николаевна проговаривала с интонациями сына вместо молитвы.

Она не слышала голоса сына больше года. С суда. Позвонил раз, говорила только

она, сын молчал, даже не вздохнул. И Нина Николаевна после каждой фразы спрашивала: сынок, ты меня слышишь? Ты еще здесь?..

И это *здесь* как заговор, приговор. Нина Николаевна поверить не могла, что сына с ней по-настоящему не было. Все было неискренне, не по правде. Когда это началось?.. Как давно?.. Может, это было всегда?..

Нет, в последнее не верила, она помнила их прогулки, взгляды, разговоры о вечном и неподдельном... Прикосновения. Объятия.

Сын целовал без всякого стеснения маму до *последнего*. *Последним* был день, а точнее вечер, под желтым кухонным абажуром. Звонок, сначала телефона, и сразу в дверь. Нина Николаевна не поняла толком, что произошло. Сын появился перед ней, поцеловал в щеку, сказал:

— Я не хотел.

И его вывели под руки двое полицейских.

— Прямо кино какое-то, — говорила растеряннно, хватая руками пустоту вместо сына, — кино...

Прошла следом в коридор, дверь перед носом захлопнул сквозняк.

Почему-то долго не могла открыть замок. Заклинило или это все трясущиеся руки виноваты...

Босиком в подъезд, по лестнице, не чувствуя холода, выбежала в морозный февраль. Тихо падает снег, скрывая следы...

— Тетя Нина, а куда Люху увезли? Милиция была, — слышит она писклявый голос, а глаза впиваются в черные полосы шин. Сотни отпечатков подошв, она ищет следы кроссовок сына. Она помнит их узор елочкой, вместе выбирали на зиму, Илья никак не мог определиться, что лучше: ботинки или же кроссовки на меху.

Отыскала еле видимый след елочкой, опустилась перед ним на корточки, прикоснулась, снег под пальцами быстро начал таять. Вот и следа не осталось — слетела горячая слеза, следом вторая...

Она не заметила, что поседела за одну ночь, соседка сказала и успокоила:

— У нас в Сибири каждый второй сидел. Чего уж там, вся Россия из эков и осужденных. И так переживать — себе вредить, сначала волосы, потом сердце в один прекрасный день не выдержит, или кукушка улетит и до конца жизни умалишенная, если в дурку не закроют.

— Не спать! — вытряхнул из сна Нину Николаевну толстый полицейский. — Вы прибыли или убываете?

Нина Николаевна заметила, что солдатика нет, растеряннно сказала:

— Убываю, — и добавила: — А солдат тут был, не видели?.. Уехал?..

Усмехнулся толстый полицейский:

— Уедет он, как же... Третьи сутки тут ошивается. Ждет, когда ему кто денег привезет, мать там или сестра, не знаю, ограбили служивого...

— Как ограбили?

Пожал плечами полицейский.

— Цыгане, говорит, если сегодня не найдет денег, пусть на улице ночует, у нас тут не благотворительность.

Белое пятно солнца встретило Нину Николаевну в дверях вокзала. Первые автобусы чадили выхлопными газами. Солдатик стоял у закрытого киоска «МОРОЖЕНОЕ», рассматривая яркие разноцветные этикетки.

Она на ходу достала из кошелька, сколько попало в щепотку, бумажные купюры.

— Тебе домой надо? — напугала громким голосом солдата. Он вздрогнул, обернулся, поднял, защищаясь, руки.

Нина Николаевна взяла его руку, вложила в ладонь деньги.

— Вот. Возьми. У меня сын твоего возраста.

Солдатик моргал длинными ресницами, кивал, мотал головой. Нина Николаевна замолчала, и он спросил:

— А где служит ваш сын?

Она сказала:

— У Ильи зрение плохое, — пожала холодный кулак с комкаными бумажками, пошла к автобусной остановке.

Солдатик догнал.

— Вы много дали, извините, мне две тысячи на билет надо, а тут...

Нина Николаевна спешила на автобус.

— Спасибо вам! Я попрошу бабушку, она помолится за вас и вашего сына, — прокричал он и еще раз пересчитал деньги. Проводил синий автобус взглядом, вернулся к киоску.

Пломбир с фисташковым наполнителем в шоколадной глазури он выкупит весь, что будет в киоске. Все восемь рожков.

Общежитие долгое время принадлежало Исправительной колонии №21 ГУФСИН по Иркутской области, в нем жили в основном сотрудники зоны, две комнаты, так называемые гостиные, сдавались посуточно родственникам заключенных, приехавшим на свидания издалека.

Общежитие сначала выкупил Керамический завод, потом город, но по негласной договоренности одна комната оставалась гостиной, ключ от нее был у бывшего коменданта общежития, он и отдал его тощей, измученной женщине с рюкзаком за спиной, встретив ее на автобусной остановке холодным утром в середине июня.

Вздыхать устаешь, как устаешь думать, плакать... Слезы заканчиваются, ей ли этого не знать. Слез не стало через месяц после ареста сына.

Одна кукушка безуданно напоминает о себе в голове, перебивая рев двигателя и тархтенье автобуса.

Ехали долго. Петляли по узким улицам с мрачными постройками, выезжали на пустырь, поднимались на виадук, пересекали лесной массив.

Нина Николаевна уже была здесь полгода назад, тогда свидание отменили из-за проведения противоэпидемиологических мероприятий. Так ей объяснили на контрольно-пропускном пункте.

Сегодня, как и шесть месяцев назад, шла вдоль бетонного забора с кольцами-лентами колючей проволоки, шла, по инерции переставляя ноги, шла как во сне. Смотрела, но не видела. Все вокруг стало бессмысленным, ограниченным все тем же забором и проволокой. Во сне колючая спираль оживала, сползала змеей, шипела, разрывала на части безликие тела, сон окрашивался в кроваво-красный цвет. Нина Николаевна видела сны сына, просыпалась и не верила себе, руки в мелких кровотокающих ссадинах, в порезах...

Она хватала стальную змею, она пыталась ее остановить, придавить хотя бы ногой... Змея резала, кромсала, рассекала...

Всю дорогу, до ворот колонии, чувствовала колючий неживой взгляд, пронзающий спину, внутренности, душу.

От черных мыслей спасала кукушка.

— Вы слышите? — спросила она мужчину с ключами на обочине дороги.

Ключник прислушался нехотя, зевнул.

— Кукушку что ли? Так немудрено, лето ж...

Кукушка куковала на самом деле, это успокоило, и Нина Николаевна всю дорогу спрашивала печальную птицу обо всем, что приходило на ум, и птица ей отвечала.

На обратном пути рассказывала кукушке тихим голосом, как не могла решиться написать в заявлении строку — *прошу предоставить мне длительное свидание с осужденным*,

и дальше нужно было написать фамилию, имя и отчество сына: пальцы не слушались, крючками онемели костлявыми, что ручка выпала.

Буквы выдавливала из себя, из сердца с болью, кровью писала.

Дальше были предупреждения. Предупреждены о запрете, предупреждены об ответственности, предупреждены о содержании, предупреждены, что факт обнаружения и изъятия, предупреждены, что в случае нарушения, предупреждены...

Не могла вспомнить число, чтобы указать в конце заявления, подсказал молодой человек в форме, она не знала, какой сейчас год, и он, не удивившись, сказал — год две тысячи шестнадцатый.

Кукушка куковала.

До общежития тихим шагом дошла за полчаса. Территория вокруг колонии сплошь мусор и искореженные металлические сооружения. Горы песка, спрессованного угля, рулоны стекловаты в человеческий рост. Молчаливые, напуганные вороны.

— Здесь все неправильно, искаженно, перевернуто, — шептала. — Рельсы с пустыми тележками из-под угля, и те заканчиваются тупиком. Из тупика в тупик.

Комната номер 25 была на втором этаже двухэтажного горбатого домика, выкрашенного в грязно-желтый цвет. На асфальте разноцветными мелкими надписью: *«Добро пожаловать в ад, двуногое животное!»*

Деревянная дверь залатана кусками фанеры, в коридоре — бочки, пласты плитки, разбитые унитазы... Дверь с надписью «вахта» закрыта на замок. По лестнице со следами жесткой метлы наверх, потом налево и снова налево, первая дверь — место ее прибытия.

Не хотела попадаться никому из жильцов на глаза, резво повернула ключ в замке и скрылась за дверью раньше, чем из соседней комнаты 27 выбежала, недовольно ворча, обесцвеченная девушка.

Отдышалась, сняла рюкзак, достала помятую пачку сигарет.

Комната с одной кроватью, шкафом, тумбочкой, электрической плиткой и парой стульев похожа на камеру-одиночку.

Она боялась таких замкнутых пространств, ограниченности. Несвободы. Сын пошел в маму. Говорил, что не позволит запереть себя в четырех стенах, не сможет быть заключенным и зависеть от кого-либо.

— Лучше смерть, — говорил. — Вены зубами перегрызу, но буду свободным...

Пахло чем-то наподобие ацетона, растворителем. Нина Николаевна открыла форточку. Июнь нынче холодный, снег шел в первые дни лета.

Прикурила, не докурив и половины, затушила, бычок сигареты аккуратно положила на подоконник.

Кукование проникло в комнату и поселилось вместе с женщиной. Нина Николаевна села на кровать. Желто-коричневые обои с геометрическими фигурами угнетали.

«Попались, попались, попались», — заползали решетки с обоев в глубину ее души. Она закрыла глаза, уронила голову на колени и только сделала хуже — в темноте, перебивая кукование и шипение, взорвался крик. Крик был нечеловеческим. Боль и ужас ломает голос, превращает человека в нечто...

Открыла глаза, поднялась, вернулась к окну и докурила бычок.

Солнце над крышей превратило дворик перед общежитием в ровный белый квадрат — безлюдный, выжженный...

Солнечная камера, тюрьма. Все мы заключенные, осужденные, загнаны в свои зоны, исправительные колонии...

— Побег невозможен, — услышала свой голос и не поверила, — это не ее голос. Сухой, затравленно тихий. Прокашлялась, повторила: — Побег невозможен.

Нет, точно не ее голос.

Мысль вспыхнула, и она тут же ей подчинилась, Нина Николаевна тихо прокуковала, подставив лицо под случайные лучи солнца:

— Ку-ку.

Побег невозможен.

Цыганка появилась из ниоткуда и ушла туда же. Горбатая, полуслепая, закутанная в яркий платок, она подошла к ней у здания областного суда и на хорошем русском сказала:

— Вижу, сердце твое кровью захлебывается. Вижу, сны твои полны крови, той, что на руках сына твоего. Был хороший мальчик, стал убийца. Себя винишь и гадаешь, как такое могло случиться. Не ищи ответа. Сам он выбрал дорогу к концу. Нагнись, шепну то, что вслух нельзя говорить, о чем лучше не знать, а коли знаешь, молчи и похорони в себе.

Нина Николаевна на дух не переносила цыганское племя, но старуха притягивала откровенностью. Да и нечего больше терять Нине Николаевне. Нагнулась к гадалке и услышала лишь шелканье цыганских четок, так ей показалось. Ночью же слова, что нашептала цыганка, приснятся, разбудят. Поднимут с кровати, выгонят в ночь на улицу. Вынутят купить в круглосуточном киоске пачку «Винстона» и курить одну за другой сигарету.

Цыганка спросила:

— Что ты хочешь для сына?

Она ответила:

— Свободы.

— Ни ты, ни твой сын больше никогда не будете свободными, — сплюнула в ладонь ворожея и закончила: — Кукушка уже начала отсчет.

И тогда Нина Николаевна нагнулась к уху цыганки и прошептала что нельзя произнести вслух:

— Побег. Если так, я хочу побег. Буду скитаться, скрываться с ним вместе. Только бы рядом. Только не тюрьма.

Последнюю сигарету в пачке и в жизни, как решила, Нина Николаевна оставила на вечер.

Прислушалась. Кукушка куковала со стороны зоны. Нина Николаевна достала из рюкзака черный целлофановый пакет, резиновые перчатки, все делала в точности по указке цыганки.

Заперла на ключ временное пристанище и вышла из дверей общежития до того, как в них едва вписался пьяный обитатель 29-й комнаты.

— Под суком, на котором найдешь кукушку, найдешь поляну с ягодами, — запомнила слово в слово наставление цыганки. — Надень перчатки, чтоб не повредить ягодам и себе, собери их все в темный непрозрачный пакет, дальше замеси тесто и настряпай пирожки, ягоды будут начинкой.

Сразу напротив общежития железная дорога, дальше заброшенное картофельное поле и лесок — туда и заманивала женщину кукушка.

Пахло травой в рожице, запах рождал воспоминания.

Двенадцать лет назад в летний жаркий день они с сыном уже ходили на поиски кукушки.

— Точно, точно, — шептала под нос Нина Николаевна, пробираясь через колючие кусты шиповника. — Это было перед твоим первым классом. Ты так жаждал пойти в школу. Мы решили устроить пикник у речки, ты услышал кукушку, спросил у нее: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» И кукушка начала куковать. Я смеялась, и ты сбился со счета. Кричал — ну мамуля, теперь я не знаю, сколько проживу. Я обнимала тебя, щекотала, говорила, что сто лет проживешь и еще сто раз по сто. Тут ты и предложил отыскать птицу:

— Глянуть глазком, как она это делает, — скакал вокруг меня и снял майку с себя и бросал ее в небо, кричал: — Кукушка, кукушка, мы тебя найдем!

А я боялась, что ты обгоришь на солнце, согласилась, чтобы скорей уйти с тобой в тень леса.

Кукушка начала отсчет.

Ощущение дежавю не покидало. словно это те же лес и кукушка.

Нина Николаевна осмотрелась, вот сейчас из-за той березы появится Илья, выпрыгнет с визгом, она сделает вид, что напугалась, прижмет к себе, и они вернутся домой. И никаких ягод. Никакого общежития с комнатой 25. Никаких колоний строгого режима с приговором заключения на срок в полчетверти жизни...

Подыграла себе Нина Николаевна, закрыла глаза и громко сказала:

— Ку-ку, кто не спрятался, я не виновата. Считаю до пяти, иду искать. Раз.

Притаился ветер в деревьях.

— Два.

Замолчала кукушка.

— Три.

Хрустнула ветка, вздрогнуло сердце.

— Четыре.

Она не одна, рядом еще кто-то, слышно его прерывистое дыхание.

— Четыре с половиной.

Еще один хруст, со стороны березы, и ощущение движения. Присутствия.

— Пять, — заканчивает радостно она, открывает глаза.

Черно-белая псина смотрит просящим взглядом, высунув язык, доверчиво виляя хвостом-обрубком.

Глаза не верят увиденному, глаза ищут мальчика в шортах с веснушчатой спиной... Сердце ищет.

Кукушка прокуковала совсем близко. Псина, услышав далекий собачий лай, сорвалась с места, оставив Нину Николаевну одну.

Тогда, в прошлом, кукушку они так и не нашли. Бродили долго, до самого вечера, до сумерек, вдоль берега.

— Откуда она знает, кто сколько проживет? — интересовался Илья. — У нее что, счеты специальные, калькулятор?.. Или дар?..

— Вырастешь — и сам мне разъяснишь, что у нее там, я, честно, не знаю.

Сын все-таки обгорел, и весь вечер Нина Николаевна мазала ему спину кефиром и подсолнечным маслом.

— Помнишь? — спросила тишину.

Ответила кукушка.

Мать была уверена, сегодня она найдет птицу, чего бы ей это ни стоило.

— Сердце свое вынешь и отдашь, да вот не нужно сыну сердце твое. Есть такие дети — кукушонки. И у достойных матерей они зачастую и рождаются. Ты хорошая мать. Это твой высокий грех — любовь к сыну. Кукушонки, они себе на уме. И ты никогда не узнаешь, что на душе и под сердцем у него.

Не стала возражать словам горбуны Нина Николаевна. В чем-то цыганка права. Мы не знаем своих детей. Поверхностно, снаружи, то, что они хотят нам показать, видим, знаем... А что у них там, в глубине?..

Сначала увидела ягоды — белесо-прозрачные, похожие на капли слез, следом над головой дважды подала голос кукушка.

Серая птаха молча глядела сверху, с молодого березового сука, как женщина надела перчатки и быстро собрала ягоды в пакет.

— Как в кино.

Казалось Нине Николаевне, что она крепко спит и все это ей снится. Цвета чересчур яркие, запах острый, отдает мятой и перцем. Движения вялые, заторможенные. Ягоды не живые — искусственные. Сожми одну — она брызнет неестественной мякотью, человеческой горячей кровью.

Или того гляди запищит, застонет, закукует...

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? — спросила в соответствии с жанром кинодрамы (все это ведь сон, кино) Нина Николаевна, завязывая пакет с ягодами. Повторила вопрос громче, отыскивая вещунью в зеленой кроне березы.

Птицы не было.

Со стороны колонии непрерывный лай сторожевых собак. Выбравшись из роши, снова увидела знакомую псину. Мокрая, смешная, она бежала с веревкой-петлей на шее в сторону мусорного бака.

Как есть кино. Вспомнила старые фильмы: «Белый Бим — черное ухо» и почему-то пса из «Сталкера» Тарковского...

У общежития напомнила снова о себе кукушка, тоскливый голос доносился эхом издалека, из другого мира, потустороннего.

Незаметно вернулась в гостиничную комнату.

Из рюкзака достала все, что велела взять цыганка. Это пластиковые чашки, кастрюлю, сковородку, пакет муки, дрожжи, масло, яйца...

Сходила к мойке, промыла, в перчатках, ягоды. Набрала чайник воды. Замесила тесто для пирожков. Укутала кастрюлю шерстяной кофтой, оставила на столе, чтобы забродило.

С кружкой чая села на кровать, по-человечьи вздохнула кровать, тоскливо. Специально купила зеленый чай с яблоком, в пакетиках, Илья предпочитал пить такой, говорил, черный чай тяжелые мысли нагнетает, этот расслабляет. Посылку сыну собрала через месяц, как перевели из карантина в колонию. Но сердце знало, не притронется сын к передаче, разделит между собой эки сладкое и носки теплые. Молчит сын и питается через силу, за полгода заключения пять раз в больнице при колонии лежал.

— Сыночек, с тобой вместе и меня посадили, — плачет она в трубку телефона. — Я же не живу без тебя, не сплю, не ем.

Тишина отвечает Нине Николаевне шумом в ушах и тихим кукованием.

— Я сделаю все, чтобы исправить это! — заканчивает каждый звонок она и плачет, снова и снова перебирает вещи сына. Прикасается к каждой вещице на полках в его комнате. Надела его рубашку и спит теперь в ней на кровати Ильи, постепенно замечая, как редет, исчезая, запах сына.

В рюкзаке туалетная вода Ильи, подарок на 23 февраля. Отложила чай Нина Николаевна, достала золотистый флакон с черным драконом, брызнула бережливо себе на грудь, принялась.

И вот он, ее мальчик с облезлыми плечиками, просит ободрать отшелушившуюся на солнце кожу.

Нина Николаевна жуть как не любит это, но сын настойчив и обещает пропылесосить всю квартиру, а не только свою комнату:

— Целую неделю, — увеличивает ставку.

Она сдастся, он ложится животом к ней на колени и закрывает глаза.

— Вот бы и жизнь, как кожу, поменять можно было, — говорит.

— А что тебе в этой жизни не нравится? — улыбается Нина Николаевна, снимая белую полоску кожи с шеи сына.

— На будущее, — отвечает мальчик, — вдруг что-то пойдет не так и захочется все изменить, возьмешь и сбросишь старую жизнь и снова жизнь начнешь, по-новому уже, без ошибок.

«Защекотала я тебя тогда, помнишь?.. — убрала туалетную воду с драконом назад в рюкзак Нина Николаевна. — А ты вырывался и кричал, что отныне ты змея и сможешь запросто сбросить кожу и заново отрастить новую».

Кусочки кожи сына она спрятала в шкатулку рядом с биркой из роддома, его первыми состриженными волосиками и кусочком пуповины с еще заметными следами

зеленки. Там же хранила рисунок — портрет мамы, маленький Илья нарисовал его в детском саду, пропись с отметкой классной руководительницы красной пастой — *Молодец!* Несколько молочных зубов...

Тесто поднялось, Нина Николаевна замяла его, снова накрыла. В коридоре пьяный мужской голос громко, с надрывом и всхлипыванием пел:

— Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет.
Как бы мне хотелось с голубями
На свободу к маме улететь.
О-о-о!
Как бы мне хотелось с голубями
На свободу к маме улететь.

Закрыла уши, но протяжное «о» зацепилось, застряло, осталось гудеть, разрастаясь до головной боли.

Кукушка не спасала, Нина Николаевна принялась мычать. Не помогло.

«О» прогнала последняя сигарета, выкуренная в открытую форточку. Никотин притупил пульсирующую боль в висках. Певец сменил репертуар и теперь подпевал орущему на все общежитие радио.

Солнце сместилось за крышу соседней двухэтажки, и квадрат дворика (слово «тюремного» назойливо лезло в голову), сбросив кожу, окрасился в мрачные, асфальтные тона.

Илья, в классе втором, выкрасил себя с макушки и до пяток черной акварелью.

Нина Николаевна в дверях увидела темные следы босых ног на линолеуме, а чумазый негритенок поджидал ее на кухне с перьями на голове и веником в руках.

— У меня новая кожа! Новая кожа — новая жизнь! — кричал, прыгая вокруг мамы. — Я теперь другой. И все, что было до этого, не считово.

— Пятки мог бы не красить, — обняла мама сына, и больше часа они отмывались в ванной, смеялись до колик и были самыми счастливыми на планете.

— В следующий раз выкрашусь в красный цвет, — обещал Илья. — Чего в жизни не бывает, вдруг двойку получу или разобью что-нибудь...

Десять лет спустя он разбил ее сердце.

Тесто едва не убежало, вздулось шапкой, свесилось с краев кастрюли.

Скалка перебралась из рюкзака на стол, заранее посыпанный мукой.

Ягоды-слезы побурели.

— Как кровью нальется ягода, начинка готова, по горсточке в каждый пирожок. Получится десять сдоб, — слышала гадалку, раскатывая податливое тесто, заворачивая алые слезинки в сердцевину лепешек.

На электроплитке докрасна раскалилась спираль, запахло старым, прожженным маслом.

— Сколько я должна? — спросила опасливо Нина Николаевна.

Цыганка посмотрела внутрь ее души заплывшим катарактой глазом, сказала:

— С тобой до смерти и после смерти остается навеки то, что ты отдал.

Нина Николаевна испугалась этих слов, задрожала всем телом.

— Если решила делать — делай смело. Спасение бывает разное. Сын должен нести свой крест, и ты с ним его не разделишь. Хочешь взять на себя его ношу?! Делай, как рассказала. Когда спросят тебя, кто виноват, ты знаешь ответ, он в сердце твоём кукушкой кукует.

Затрещало масло в сковороде, уложила под щелканье и фейерверк брызг на чугунное дно первые три пирожка.

— От справедливости нельзя убежать. Побег чаще всего — возвращение к истине. К наказанию должному, на небе прописанному... Божьему!

Не стала спрашивать цыганку, где был Бог, когда сын в нем нуждался. Когда творил то, что вслух произнести страшно. Она спрашивала это не раз у Бога. Кричала, молила, требовала ответа...

Все как по шаблону, заурядно и не ново — виним во всем Бога, и в своей неудавшейся жизни, и в сломанном ногте... во всем виноват Он! А надо говорить спасибо Богу за неудавшуюся жизнь, за сломанный ноготь...

«За осужденного сына, — перевернула румяный пирожок Нина Николаевна. — Спасибо, Бог, за мужа-космонавта, за кукушку настоящую и сердечную, за ягоды и пирожки... Спасибо, что завтра все закончится».

Ягод хватило, как и предсказывалось, на десять пирожков. Оставшийся комочек теста оставила птицам за окном.

Облачившись в черную кожу, дворик исчез с лица земли, ни огонька, ни звездочки. Темнота проползла в комнату, Нина Николаевна зажгла бра над столом, центральный свет включать не стала. А если б попробовала, не получилось бы — лампочка тут давно перегорела.

Пирожки сложила в чашку, поставила рядом на прикроватную тумбу.

Ночь изменяла, стирала границы реальности. Все казалось поправимым и возможным.

— Как в кино, — шепотом, а за окном собачий лай, беспокойный, как сон эков.

Кукушка ночью звучала эхом в сердце. Напоминанием.

«Утро вечера мудренее, — успокаивала себя Нина Николаевна. — Все, что ни делается, к лучшему, — как заклинания, как установка, мотивация: — Слезами горю не поможешь, что решила делать, делай!..»

Запах жареных пирожков убаюкивал, темнота овладела. Нина Николаевна со дня ареста сына не видит свои сны, поэтому, открыв глаза, не удивилась, что лежит на шконке под грязно-зеленым шерстяным одеялом и боится повернуть голову. Грудь саднит от ударов и слез. Мыслей нет, одно желание помочиться, но внизу живота огненный шар. Страх парализовал голосовые связки, и он не знает, сможет ли теперь когда-нибудь заговорить. Когда это когда-нибудь наступит? Никогда?! Воняет грязным телом, мочой, гноем. Это его запах. Так пахнет беспомощность. Страх. Потеря.

Завтра длительное свидание, и мама пообещала, что спасет. Мама, мамочка, мамуля... Слезы красные по щекам, и крик, застрявший в горле, окаменевший. И беспощадное ночное кукование невидимой кукушки, сводящее с ума, как поступь необратимого. Неисправимого. Молотком по черепу — ку-ку, и в мозг — ку-ку.

Ку-ку, — вздрогнула от сна Нина Николаевна, поднялась. Позвала сына, уверенная, что слышит он ее. Попросила потерпеть до утра:

— И пусть всего не исправлю, но помогу тебе. Спасу тебя! Спасу нас!

Выдохнула кровать, отпуская человека, Нина Николаевна встала, прошлась по комнате, ноет душа, тело ноет.

Все движения как во сне. Вся жизнь — сновидение. Может, она спит и никак не проснется. Это сон. Да, всего лишь сон, отсюда и ощущение, что все происходящее — как в кино. Вот ответ.

Это же во сне ты пытаешься бежать, а не можешь: шаг, как в замедленном кино, вязок и тянется вечность. Один шаг в сто лет.

Внутри затеплилась радость. Нина Николаевна захотела ущипнуть себя, но передумала, вдруг проснется — и кино кончится, а так она может перемотать пленку вперед и посмотреть, что будет...

Она рассмеялась про себя, плюхнулась на кровать, закрыла глаза, представила, как перематывается пленка, мелькают кадры. Кадр за кадром...

...И ночь разорвал рассвет, вместе с солнцем на улицу вышла она. Нина Николаевна направилась знакомой до щемящей тоски тропинкой к колонии строгого режима. Вот и псина с веревкой на шее бежит следом, и кукушка тут как тут, и

коптившая черным труба котельной на территории поселения. До ворот зоны добежала на перемотке, потом до комнаты, где они будут жить с сыном, все просмотрела одним кадром. Пауза. Комната меньше той, что в общежитии. Две кровати, раковина с ведром, стол с двумя стульями. Сын в дверях слушает толстого мужчину в форме, тот яростно жестикулирует, плюется. Илюша худой, бледный, так сильно на нее похожий, молча кивает.

Она отсюда слышит хрипкое дыхание сына, чувствует жар его больного тела.

Мужчина в форме договорил, ушел. Сын шагнул в комнату, прикрыл дверь.

— Я не буду плакать, я пообещала же тебе, — слезится, дрожит голос Нины Николаевны. — Я принесла пирожки со специальной волшебной начинкой, ты должен съесть их — и через три дня мы будем далеко отсюда...

Следующий кадр — Илья сидит за столом перед чашкой с пирожками. Ест и улыбается.

— Ты умрешь, сердце твое остановится ровно на три дня, — шепчет Нина Николаевна.

Кадр поменялся — мертвое тело Ильи увозят за ворота колонии. А в следующем кадре видим тело под простыней в морге городской больницы.

— Будем хоронить из дома, — говорит мать врачу, и через пару кадров — Илья в своей комнате на кровати. Еще кадр — и он приходит в себя, улыбается, и мама, мамочка, мамуля его плачет, хотя обещала не плакать, они обнимаются, а на столе кухонном два билета на самолет и собранные пузатые дорожные сумки в коридоре.

— Присядем на дорожку, — в последнем кадре говорит Илья.

Камера стремительно вздымает в голубые небеса, и на ярко-белом солнце надпись красным: «Конец».

Взлетела вместе с камерой Нина Николаевна, сердце взлетело, и стало больше солнца. Места не находила Нина Николаевна, металась по комнате, выглядывала в окно, сама же уже бежала, перепрыгивая через ржавые рельсы и кучи угля к воротам, к дверям контрольно-пропускного пункта.

В четыре утра небо начало светлеть. Квадрат перед окном, дом, все приобретало внятные черты, натягивало кожу нового дня. Кукушка — свидетельница и судья — прокуковала устало и нерешительно. Решительней солнца и птицы была лишь мать.

Собрала пирожки в пакет, посуду сложила в рюкзак. Время, когда его торопишь, назло опаздывает, секундные стрелки становятся минутными. Минуты тянутся часами. И небо, и квадрат двора — все застыло в одном кадре. Ни движения.

Невыносимо было наблюдать нерасторопность природы, Нина Николаевна прилегла.

— Надо набраться сил, — сказала, — и во сне незаметно пройдет время.

До девяти утра осталось ждать четыре часа.

Время в кино, как во сне, незаметно, и жизнь может длиться бесконечно, а может пролететь за пару мгновений.

Утро пахло намоченной росой, травой, и кукушку перебивали другие птички трели: радостные, задорные.

Комнату закрыла, ключ оставила в замке — так договорились с бывшим комендантом. Он зайдет за ним через несколько минут.

На общежитие не взглянула, не обернулась. Больше она его никогда не увидит. *Добро жало ад— у-е!* — радужные буквы на асфальте.

Псина, словно караулила, подбежала, приносиваясь к пакету с пирожками. Заскулила.

— Это для сыночки, — ответила попрошайке Нина Николаевна.

Развязала петлю, псина сопротивлялась, вертела мордой, гавкала, веревку выбросила.

— Теперь ты целиком и полностью свободна.

Тявкнула недовольная псина, отыскала в траве веревку, зажала ее в пасти и мгновенно скрылась в кустах.

Привычки творят чудеса. Тюремь не всегда ограничивают. Иногда ограничения и есть свобода. С веревкой на шее, на привязи, жить легче...

Прошла мимо вчерашней роши, там снова истерила кукушка, продолжая свой отсчет.

Остановилась Нина Николаевна. Замерла. И сердце остановилось. И время...

Как в кино.

Кукушкин плач стал голосом сына.

Они сидели за столом, в комнате для свиданий, друг напротив друга перед плоской жареных пирожков. Сын сказал, и его слова стали командой к действию, приказом, точкой отсчета:

— Пусть кукушка замолчит, мама. — Он это сказал тихо, но для них двоих слова прогремели громче всех бомб!

— Пусть кукушка замолчит!

Она кивнула, она улыбнулась, она протянула ему пирожок.

— Поджаристый, как ты любишь, — сказала.

Сын съел, проглотил целиком.

Взял второй, протянул маме, мамочке, мамуле.

Она взяла из рук сына пирог со специальной волшебной начинкой, откусила.

— Обещала тебе, что съездим на море, помнишь?..

Сын жевал, кивал, помнил.

— Вдвоем, только ты и я. Найдем место, где нас никто не отыщет, и это будет нашим местом. Тайным. Только надо съесть все пирожки. Они с ягодами, которые похожи на слезы...

Взяла еще пирожок Нина Николаевна.

— Закрой глаза, сынок, и представь. Закрой, закрой. Слышишь шум моря? Иди на звук. С закрытыми глазами иди... Под ногами песок, теплый, мягкий. Чувствуешь, как припекает солнце на твоих щеках? Не бойся обгореть. Это другое солнце, как и другие мы. Мы новые! Здесь все новое, и все дышит жизнью, искрит красками. Это рай. Это как во сне. Как в кино!

Иди. Вот я уже вижу, вижу тебя. Тебя нового. Ты весь золотистый. Сияющий. Мой, мой сын. Открой глаза, не бойся. Открывай.

Сын открыл глаза.

Камера показывает пустую пластиковую чашку с масляными разводами на стенках и кусочками сдобы. Камера ныряет в пустоту, на самое дно чаши, все окрашивается в бело-золотистый цвет.

Это еще не конец.

Глаза сына привыкают к яростному свету солнца, и вот он уже различает берег моря: полоса сине-зеленого цвета, желтый песок, бирюзовые скалы и золотистый силуэт, бегущий навстречу.

— Мама, мамочка, мамуля!..

Мать? Он никогда так ее не называл.

ВЫХОД. ОН ЖЕ ВХОД

Комната 30

*Девятая картина***Время камней и снов**

Греха не существует! В грешном мире все не без греха, значит, все что угодно есть грех и не грех одновременно. Греха нет, когда он — все! Мы безгрешны и смело можем бросать камни в Магдалену. В Иисуса. Шумного соседа по лестничной площадке. Предавшего друга. Неверную жену. Друг в друга. В себя. Брось в меня камень!

(Из аннотации к выставке)

«Выставка "Брошенные камни" была уникальной и успешной», — писала городская газета «Вечерняя среда».

Тридцатилетний художник Илья Дубин, автор семи работ в жанре, который он определяет как «нервный метафизический реализм», стал событием в мире красок. Открытием года. Запоминающиеся образы, шокирующие и притягивающие. Ярость цветов и необыкновенная техника. Оголенные нервы, политые кровью, — такое блюдо преподнес смелый автор. Критика встретила самобытного художника с распростертыми объятиями. Все работы, как стало известно редакции, были куплены частным коллекционером и по окончании выставки покинут город и даже страну.

Через полгода в еженедельнике появится заметка:

«Время собирать брошенные камни».

По словам директора «Художественного центра» Ольги Ивашко, известный в области художник Илья Дубин готовит новую, не менее скандальную, выставку-эксперимент, которую планирует показать не раньше осени 2017 года.

— Илья ушел в добровольное, так сказать, отшельничество, — поделилась с нами Ольга Игоревна. — Название выставки пока неизвестно. Илья работает на вырученные от продажи картин деньги, он независимый, талантливый многообещающий художник. И я могу ответить его словами: пришло время собирать брошенные камни. Этот эксперимент коснется каждого сердца, затронет каждую душу... Это будет наша простая и такая сложная жизнь. Обыкновенная и полная мистики. Заурядная и такая удивительно индивидуальная. Непостижимая. Невозможная...

Илья не читает газет.

Комнату в общежитии решил превратить в мастерскую после очередного кошмара.

— Нормальные сны мне давно не снятся, — это он не раз говорил своему единственному настоящему другу. Всем остальным, сотням так называемых друзей он такое не скажет никогда и под пытками. Он и друзьями никого, кроме Саввы, не называет: знакомые, поклонники, завистники, банные хвосты, проходящие...

— Сколько тебя знаю, они всегда тебе снились.

— Это сколько? Лет двадцать?..

Савва развел руками:

— Да всю жизнь.

— Сны кажутся вторичными, на самом деле они наша первооснова. Сначала сон, потом уже реальность, наша каждодневная жизнь. Но вначале был сон.

Илья говорит это на автобусной остановке, метровыми шагами прохаживаясь перед сидящим на лавочке другом. Савва поможет загрузить две спортивные сумки с красками и вещами в автобус.

— Может, с тобой доехать? — спрашивает в десятый раз и в десятый раз слышит:

— С тобой я буду слабым. Картины это чувствуют, они ломают меня... И ты же знаешь, когда работаю, я злее Сатаны. Попадись кто под руку, живым не уйдет...

Савва может подтвердить истину слов художника:

— Тот еще маньяк.

Илья подсел к другу:

— Сны общаги.

— Мне нравится, — ответил друг.

В тишине ощутилось напряжение, в неожиданном молчании, неоконченном монологе, прерванном разговоре...

— Я видел коридор с открытыми дверями, — шепотом, прикрыв рот ладонью, начал Илья, наклонившись к уху друга: — Коридор общежития, все как в жизни. Заглянул в первую комнату, номер не помню, где-то в центре, а там пусто, но пустота живая, я ее ощутил. Это как душа, ты ее не видишь, но зато прекрасно ощущаешь. Невидимое не значит несуществующее. И оно втянуло меня воронкой в себя, и я понял, что становлюсь невидимым, а потом увидел себя со стороны частью интерьера комнаты. В комнате какие-то стеллажи с книгами, кровать, стол, табуретка... Я был табуретом. Я закричал, как может кричать деревянный предмет, и проснулся с мыслью, что я уже никогда не буду человеком. Что я табурет, и с этим как-то придется смириться и жить.

Савва достал пачку сигарет.

— Табуретом не так уж и плохо, не стульчаком унитаза хоть, — утешил, покрутил пачку в ладонях, помял, убрал назад в карман. — Курить бросаю, — выдохнул. — Пробую.

Илья сказал:

— Ага, — встал. — Вчера вот приснился голос. А сегодня я решился...

— Голос велел, что ли, в общежитии поселиться?!

— Рисовать там сказал.

Кудрявый, черноволосый, с выдающейся мощной челюстью и бесстрашным взглядом, Савва посмотрел на друга:

— Шизофренией, слушай, попахивает, Люх?..

Илья скривил страшно лицо:

— Так давно уже, ты просто не замечал...

Показался автобус.

Савва взял сумки, на всякий случай еще раз предложил помощь. Илья пожал в ответ руку. Хлопнул по выпирающей, накаченной груди:

— Телохранитель нам понадобится на выставке — от поклонниц чтоб отбивал.

Друг улыбнулся:

— Ты аккуратней там. С голосом и с табуретками смотри шашни не крути.

Водитель просигналил. Илья скрылся в темном салоне.

Савва вынул сигарету, зажигалку, дождался, пока автобус завернет к площади, прикурил.

Место, которого нет, не это ли мое место?! — написал в блокноте художник. И дальше: — Сны общаги все те же кошмары. В каждой комнате свои. Здесь живут не люди, комнаты живут людьми! Вопрос: кто видит сны? Люди или комнаты?..

Комнатам снятся люди. Люди — плоды создания комнат. Несуществующие, порождение кошмарных снов...

Кто знает, что комнатам приснится завтра?..

— Пока я конкретно в ней не поселился, *это* не ощущалось. Чтобы проникнуться, стать своим для этого мира, надо засыпать и просыпаться в нем, в его внутренностях, кишках, сердце. В сознании...

— Кишки комнаты, — хихикнул Савва, — отличное название. У моей квартиры точно мозг отсутствует. Она у меня полоумная...

Пили пиво в павильоне между домом Саввы и автобусной остановкой. Илья приехал заказать листы ДВП для новых работ.

— Мама твоя звонила, спрашивала новый номер.

Илья отхлебнул из большого пластикового стакана.

— Я сам позвоню ей, говорил, забыла, видно, что звонить буду редко, от работы все это жутко отвлекает. Да и говорить не о чем...

Савва помял пачку сигарет на столе, покрутил зажигалку в пальцах.

— Сосед что твой? — спросил.

— Эт который?

— Тот, что вечно убитый.

— Вечно убитый, — Илья улыбнулся. — Из двадцать девятой Гриша. Он у меня в планах на вторую картину...

— Сколько там вообще народу?.. Помню, пустота, ни живой души. Вымершая общага.

Кивнул Илья.

— Почти. Вот я и придумываю жильцов комнат. Гриша-страдалец — тоже моя выдумка. Пустота никогда не бывает полностью пустой. Она самозаполняется.

— Кошмарами?

Кивок.

— Ими в первую очередь.

Порыв ветра легко сбросил измятую сигаретную пачку с пластикового столика.

— Холодное лето, — нагнулся за сигаретами Савва. — Такое ощущение, что осень.

— Точняк, осень, надо Ивашко звякнуть, как минимум к следующей осени смогу картины у нее выставить.

Савва вылез из-под стола.

— Что так долго?.. — Выудил из пачки сигарету, сломал.

— Думаешь, легко это, быть богом?.. — допивая пиво. — На первой пока сижу. Застрять не застрял, не пойму просто, чего она от меня хочет. Смешанную технику думаю попробовать.

Савва достал вторую сигарету.

— Это как?

Дружба — это непохожесть. Савва далек от живописи, как Илья от слесарно-токарных работ. И в картинах друга пытается найти отголоски реальной жизни.

— О! Вот вижу лампочку и окно, это на бабочку похоже, а тут мужик — копия моего соседа сверху, сука, достал уже топить меня каждые полгода. Что, угадал?

Илья говорил, угадал.

Раньше он долго вдавался в рассуждения о понимании картины, что нужно ее чувствовать сердцем, душой:

— Кто-то понимает зубами. Да, да, не смейся, проникается настолько, что начинают ныть зубы. До сумасшествия доводит глубинное, идущее не от разума наложение мазков. Цвет может убить. Сочетание красок в определенной пропорции при нужной форме — вуаля, ты мертвец.

Друг понимающе сочувствовал:

— Да я буду лучше в толчках ковыряться...

— Можно не понимать, что написал автор, но ощущать энергию цвета. Ярость, грусть...

— Но это ведь точно лампочка?! — переспрашивал Савва. Он и сейчас переспросил:

— Чего смешивать, говорю, будешь?

Художник ответил:

— Да все подряд. Я стащил уже из двадцать седьмой, там пара молодая живет, несколько безделушек, впишу их в картину.

— Украл?! — Сломал напополам сигарету, крошки табака сдула новая волна ветра.

— Скажем так, — в голосе резкость и злость, — не украл, а позаимствовал для Вечности. Я вписываю их в историю, блядь! Даю вечную жизнь!

— Оу, оу, оу, — следующую сигарету Савва решил помиловать и убрал пачку. — Чего завелся-то?!

— Они, узнай, что я делаю их бессмертными, увековечиваю, уверен, отдали бы все что ни попрошу. И волосы, и кожу с кровью, и...

Савва смял стаканчик:

— Не пугай. Что, еще по пиву и в школу не пойдём?..

Пива Илья не захотел:

— Картины не любят, — ответил коротко.

— Ой, — возразил друг, — да знаем мы. Все эти Вангоги, Пикассо, кто под абсентом, кто по накурке творили...

— Не в моем случае, — снова раздражаясь и злясь: — Я к своим работам отношусь иначе. Даже в трусах перед картиной не появляюсь. Тем более не работаю. Уважаю, и они это ценят. Поэтому не мое. В трезвом уме и твердой памяти. Только так. Это же как священнодействие. Катарсис...

— Потрахаться тебе надо, — сделал вывод Савва. — Алиска явно будет не против, если ты хотя бы ей кисточку свою дашь пополоскать...

— Алиса — неудачная работа, — перебил. — Я такие холсты закрашиваю. Пишу на них новую картину. И, Савва, эта новая работа, подмечено, всегда получается. Доволен я, в восторге зрители.

— У нее так-то к тебе чувство, — тихие слова унес ветер.

Илья поднялся.

— Пойдем что ли, нить Ариадны...

— Чего это я нить, еще и Ариадны?..

Художник выгащил пару сотенных купюр:

— Ну, а кто меня еще связывает с этим миром? Миром живых.

Подошел пожилой узбек, забрал деньги, пригласил приходить еще.

Савва переспросил:

— С чего Ариадны-то?..

— Потому что я в лабиринте, а там Минотавр!.. — прошептал на ухо друг.

Время комнат (Взгляд из гроба)

Летом краски бледнеют, теряют яркость. Не люблю лето. Лето — это маленькая смерть. Комната в полдень делится на две равные части. В распахнутом окне зелень тополей, гнезда сорок, трубы Комбината. Небо. Никогда не писал небо. Голубая полоса сверху картины не обязательно небо, полоса синяя, черная с вкраплениями белых клякс — это еще не небо. И облака не делают небо небом. Небо может увидеть не каждый. Не глазами...

666. Шестое число, шестого месяца, шестнадцатого года. Холодный день. Дьявольская отметина. Здесь мудрость...

В существовании зла никто не сомневается. С добром — сложнее. Умники рассуждают, считают, что в моих картинах темная сторона жизни и личности. Может, перебарщиваю с темными, холодными тонами, цветом, но пишу я отнюдь не темноту. Обратную сторону тьмы. Я пишу — рассветы. Рассвет Человека! Пробуждение. Спасение от кошмаров. Но сначала кошмар. Чтобы просыпаться, надо заснуть. Для спасения необходимо пленение. Необходим ужас, страх, беда, горе... Все мы на привязи... Рабы привычек и желаний... Рабы времени, любимых людей, тел, вещей, комнат...

Комната ловит тебя не сразу, потихоньку затягивая в лабиринт к Минотавру. С каждой ночью, в самую глубь, на дно...

Первыми оживают обои.

Сначала подумал — померещилось, потом — может, все дело в шестом дне шестого месяца?..

В такие моменты вспоминаю урок рисования в школе, в классе пятом было дело. Задали нарисовать «что видите на картинке».

Все нарисовали фрагмент стола с книгой, свечой и чернильницей. Я заглянул внутрь картинки, глубже, еще глубже — увидел того, кому принадлежали эти предметы. Он ожил передо мной, старик со шрамом, рассекающим лицо. У старика было имя, оно написано в книге... Только это не книга, это его дневник, он допишет сейчас последнюю запись в своей жизни, прикурит от свечи и оставит все так. Старик болен, одинок и несчастен. Старик — бывший офицер — застрелится здесь же за столом, и капли крови станут подписью на листе под его последним посланием...

Я нарисовал его, как смог, с раной вместо правого глаза и кровью на раскрытой книге. Нарисовал карандашом и разукрасил фломастерами, терпеть не могу фломастеры, они были водянистыми, их перезаправили вонючим одеколоном, и лицо старика-самоубийцы, без того страшное, растеклось в кровавую кашу.

Стоит ли говорить, училка была в ужасе. Спрятала лист из альбома до прихода родителей. Отец тогда уже лежал в больнице, лечился от алкогольной зависимости, мать пришла под таблетками успокоительного. Рисунок подвергли прилюдно экзекуции, в кабинете были еще психолог и физрук, как оказалось, спец по детским психотравмам, получше школьного психолога. Я, я клятвенно пообещал больше не рисовать что взбредет в голову. Мама пила таблетки и держалась за сердце. Физрук подмигивал, мол, все хорошо, парень, дополнительный урок физ-ры тебе, дохляку, пойдет на пользу. Я поклялся, в кармане сложив пальцы крестиком. Я не сдержал клятвы.

И не перестал смотреть сквозь, внутрь и глубже.

Вот и увидел, как рисунок на обоях ожил. Геометрические фигуры стали клеткой, розы голубо-грязные превратились в глаза.

Жутко, да, когда за тобой наблюдает сотня тысяч глаз из стен со всех сторон. Но это лишь поначалу, потом привыкаешь. Человек может привыкнуть ко всему, даже к боли и своему сумасшествию...

Я заказал девять листов ДВП разных размеров. Ими частично закрыл глазающие стены.

Каждый лист — комната в левом крыле общежития.

Первая комната 26. Выставив лист 1,5 метра на 2 так, чтобы солнце не целилось прямиком, выдавил на палец желтую краску, нарисовал спираль. Спираль превратилась в улитку. Улитка оставила след. Из этой серебряной нити выросли фигуры. Мужчина с алюминиевым тазом в руках и девушка, поймавшая улитку за яркий золотистый хвост.

И все-таки чего-то не хватало, чтобы они ожили.

Кричали глаза с обоев, косясь на работу.

И в первую ночь с написанной работой, засыпая, одурманенный запахом масляных красок и растворителя, услышал голос:

— Вещи живут дольше, вещи переживают человека. Человека не будет, останется то, что он носил, к чему прикасался...

Я повторял за голосом, и с каждым словом, вздохом исчезал. Стал невидим, стал голосом.

Сквозь стены проходить оказалось не так-то просто. Особенно когда они сплошь в глазах. Липкие и холодные прикосновения, чмокающие, словно поцелуи взасос... Я шел сквозь стены за голосом, вместе с голосом, черт возьми, я был этим голосом.

В комнате молодой пары бардак, это мужская половина, Виталик по кличке «Космос» заразился безумной идеей.

Здесь многие подвержены безумию, сумасшествию. Это все энергия места. Души комнат...

Мне нужно забрать у них что-то, что оживит полотно. Платок Виктории с отпечатком губной помады и слез. Она плачет теперь часто, особенно в обеденный перерыв на работе после разговора с отцом. Говорит отец, она плачет и слушает, и видно, как блестят зерна слез...

Носок Виталия, у него привычка терять носки, дырка на месте большого пальца. Виталий недоумевал, откуда они берутся, эти дырки?..

Обесцвеченная прядь волос Вики, засохшая капля рвоты, что нашел за ухом Виталия, станут отличными штрихами в картине. Подчинят их ей, привяжут, оживят.

Вдохнуть жизнь — как говорила та самая училка по рисованию, разорвавшая в мелкие клочья мой первый настоящий, живой рисунок.

— Ты какой-то не бледный даже, а синий. — Савва встретил друга, как договаривались, на остановке. На встрече настоял Савва и сразу протянул телефон художнику:

— Я набрал уже, поговори с матерью.

— Боже! Ради всего!.. — рявкнул, а из сотового громко донеслось:

— Что, я плохой матерью была, вот скажи мне, Саввушка, ты как никто нас знаешь! Что отец пил, так что, я виновата?.. Или в том, что у меня такая психика нездоровая?.. Скажи, Саввушка!

— Здравствуй мама, — сказал сын.

Отцу нравились, как он выражался, каракули сына. Отец не просыхал, и трезвым Илья его никогда не видел. Даже в гробу, куда он угодил, по словам матери, благодаря пьянке, от него несло перегаром.

Мать с не выявленным ни одним невропатологом (потому что все они тупицы и неучи) душевным расстройством считала рисование не мужским занятием, и вообще не занятием, а увлечением, временным детским хобби.

Илья рисовал и потому считался непослушным ребенком, и пару раз матери удалось затащить его в кабинет к психиатру. Все заканчивалось ее слезами и таблетками. Сын, как об стену горох, считал, что рисовать — это его призвание и он будет продолжать в том же духе.

Комната в общежитии нашла его сама, как Илья будет говорить потом другу, она позвала. Сначала жил в ней время от времени, отходил после бурных загулов, мог по полгода не появляться, пока не превратил в свою мастерскую. Пока не оживил комнату с номером 30.

— Ты меня не слушаешь, Илья Дмитриевич! — Убрал от уха кричащий мобильник. — Ты опять игнорируешь меня! Живешь в придуманном, в своем рисованном мире и думаешь, что все, кто не вхож в твой мир, не жильцы?! Мертвецы?! Так получается! Так вот, знай, мертвец — один лишь твой отец, а на нас всех нечего крест ставить! Савва тоже долго таскаться с тобой не будет. Убежит, не обернется. Добьешь и его, вот увидишь!.. А Алиса — прекрасная девушка, ты ей мало того что жизнь сломал, ты насильно ее аборт заставил сделать. Убил моего внука! Ты! Ты убийца, слышишь! Убийца! И меня ты хочешь убить! Свою мать родную! Да?! Давай! Убивай!

Сын запрокинул голову и смотрел в небо.

По сути неба не существует, — размышлял, — оно продолжение нас. Мы — это небо. В продолжение... Небо всюду, чем оно выше и подальше от нас, людей, тем чище... Прозрачней.

— Думаешь, я забыла, какой ты меня изобразил в своей мазне?! Ладно, отец у тебя в гробу с бутылкой в зубах лежит... Ты меня сделал без глаз, без ушей, с какой-то собачьей пастью вместо рта... Это ты меня такой видишь, я так понимаю?! Так почему не убьешь?! В гроб уже положил бы лучше с отцом вместе!..

Пока мать переводила дыхание, сын успел сказать:

— Ты забыла, ты такая безучастная, ничего не желающая ни видеть, ни слышать, ты тоже в гробу лежишь, почти рядом с отцом.

Мать не слышала сына, продолжала:

— Савва — положительный молодой человек, спорт любит, работает на нормальной работе, семью завел. А ты что делаешь? Изображаешь его какой-то девочкой с бантиками и шарами воздушными! Это что, по-дружески, хочешь сказать? Сделал из него какого-то трансвера!

— Трансвестита, — поправил тихо Илья и подмигнул другу. Савва терзал в руках пачку сигарет:

— И мне досталось, — подмигнул.

— Я бы на его месте тебе морду набила.

— Так набил, — и добавил: — Он, не забывай, как и все, в гробу, и леденец еще во рту, помнишь?..

— Ничего я не помню!

— То было время гробов. «Взгляд из гроба» все это называлось, — говорил сын.

— И помнить ничего не хочу! Не желаю! — всхлипывала мать. — Снова таблетки пить из-за тебя. Всегда все из-за тебя! Сделал из меня...

— Прости меня, мама, — перебил сын. — Честно, я постараюсь больше так не делать. В гробах точно никого не нарисую. Клянусь. Только скажи, что прощаешь.

Савва уронил пачку. Мать, заикаясь:

— Я, я, у теб... у тебя все, все хорошо?..

Илья ждал ответа.

— Не думай ничего такого. Я всегда тебя прощаю. Ты что там такое подумал? Я прощаю, и рисуй ты чего хочешь. Хоть снова меня в гроб уложи...

— Спасибо, мама.

«Взгляд из гроба» — серия работ формата А4 — хранилась у Саввы в дипломате под ключом подальше от многих глаз. Лиц, жаждущих кровавой расплаты с картинами и автором.

На кусках фанеры общие знакомые, еще живые, смотрят на мир из собственно созданных своей жизнью гробов. Илье нравилась серия. Все остальным — нет. Савва долго смеялся до слез над своим гробом:

— Что-то в этом есть.

Алиса, увидев себя, сказала коротко художнику:

— Застрелись.

— Мы создаем гробы для самих себя своими делами, поступками, — объяснял автор. — Словами своими, желаниями, мыслями, мечтами... Так и живем в гробах. От гроба до гроба...

Алиса лежала в гробу, обмотанная пуповиной ребенка, которого держала на груди, между ног рос куст колючек...

— Это я себя нарисовал на самом деле, — услышал как-то Савва. — Если приглядеться, пальцы испачканы в красках, и кадык, у Алиски его нет. Но почему-то такие заметные мелочи никто не увидел. Мы видим то, что льстит нашему глазу. Я и не тебя одел девочкой — себя. И родители — взглядишь, там всюду я. Крутом, везде и всюду один я!.. Мелочи выдают истину...

Илья этого не знал, но Савва в тот же вечер достал из укрытия картины и с ужасом и восторгом разглядел в себе с бантами и леденцом Илью. Как он сразу не увидел этот печальный взгляд исподлобья?..

«Под столом, или Портрет чудовища» — назвал комнату 29.

Гриша во мраке под столом не один, с ним его родители. С ним его детство — единственное ценное, что есть в его жизни. За столом сидит нечто — то самое

чудовище. Оно сломало жизнь мужчине. Чудовище — его спутник по жизни. Его мать, партнер, детство, судьба, смерть...

Клок волос со своей волосатой груди дал мне сам — для кисточки. Пьяный, он способен еще не на такие поступки...

Я прихватил у него для своей работы старую семейную фотографию.

Гриша в том году пошел в первый класс, он в школьной форме и с заметным синяком под правым глазом. Подрался в первый же день. Отец дал ремня, поставил в угол, мама принесла втихаря кусок творожной запеканки, поцеловала, шепнула что-то утешающее...

Гришино детство — золотистая лужица, раздавленная когтистыми, мохнатыми лапами чудовища. У монстра нет лица, морды, назовите как хотите, рожи... Потому что портрет, портрет с лицом чудовища, что я нарисовал, Гриша прячет от всех и от себя...

Стены в моей комнате ожили, следом за обоями — потолок. Они дышали, пульсировали, в самый неподходящий момент могли сузиться до размера коробки (черепной?). Все в комнате тогда уменьшалось. Сердце комнаты (или это не оно бьется в темных каменных внутренностях?) не дает уснуть. Стучит, кричит на разрыв ушных перепонки и сердца человеческого.

Не сплю третью ночь.

На четвертую заметил, что с готовыми работами что-то не так.

Время кормежки (Брага из человечины)

Ивашко договорилась о встрече в «Шоколадном рае», утром напомнив эсэмэской: «В 11 жду в раю:».

Илья опоздал на полчаса. Ольга Игоревна — женщина пунктуальная и ответственная, выпила три стакана молочного коктейля, поэтому, когда появился художник, она торопливо поздоровалась, исчезла в туалетной комнате. Появилась минут через пятнадцать.

— Коктейль «Метель» не заказывай, — процедила сквозь зубы. — Это не метель, это пурга какая-то.

Илья нашел на сотовом сфотографированные работы, положил на стол.

— Вправо листайте.

Ольга Игоревна смотрела на фотографии и не дышала. Просмотрев на третий раз, сказала хрипло из-за пересохшего горла:

— Как живые. Ей-богу. Натуральные... Особенно мальчик с разрезанным ртом. Кровь настоящая, и кажется, что еще идет... Течет...

Художник перегнулся через столик.

— Настоящая. Угадали.

Директор Художественного центра, не отрываясь от разглядывания мальчика с перебинтованным лицом и кровавой розой вместо рта, сглотнула:

— Превосходно.

Бинты, насквозь пропитанные кровью, — ими был под завязку забит целлофановый пакет и выставлен за дверь комнаты 33, так часто делали соседи, чтобы не забыть вынести мусор поутру. Илья по-соседски вынес пакет...

На картине мальчик с лезвием в руке и разрезанной пополам губой, кровавые ленты обратились кровотокащими розами. Капли крови на бинтах, на руках и груди матери. У матери заячья губа, сильно похожая на воспаленные, возбужденные женские гениталии.

— Название как?

— Пойди к муравью?.. — не задумываясь, отчеканил.

— Да нет, с настоящей кровью, мне она прям в сердце забралась. До мурашек, вот взгляни, — протянула белую руку с гусиной кожей. — До дрожи и за душу.

— А, эта комната. Губа в разрезе.

— Превосходно, превос... У них тут крепкое не подают, поэтому я с собой коньяк принесла, сейчас кофе закажем черный, отметим.

Илья согласился. Коньяк расслабит, коньяк поможет забыться хмельным сном. Пьяные сны не так страшны.

Из «рая» отправились в кабинет Ольги Игоревны, где в тумбочке стола пылился французский коньяк, туда и приехал Савелий за другом.

Илья обнимал Ольгу, Оленьку и обращался на «ты», как бывало каждый раз в момент разгула веселья на встречах-фуршетах. Потом развеется дым алкогольной эйфории, она снова станет для него Ольгой Игоревной.

Решили, что объявлять точную дату выставки не будут.

— Не будем! Не будем! — махала руками Ольга и в сотый раз напоминала: — Но Губа моя, ты должен мне ее подарить.

Илья не отвечал.

Савва появился в самый нужный момент, решающий, бежать еще за бутылкой или расходиться.

Победил разум. Ольга осталась ждать мужа. Савва повел друга к остановке автобуса.

— Они растащат меня по кусочку, — ворочал языком Илья, — им мало всего, что даю. Им нужен буду я. Часть меня, в каждой из них и так часть меня. Но им мало, им необходимо больше меня. Моя боль, мои слезы, мои сны... Кровь. Им нужна моя кровь!..

Савва уговаривал остаться переночевать у него на диване, напрашивался проводить Илью до общежития.

— Нет, нет, только не ты. Они и тебя сожрут!

Посадив художника в автобус до окраины, Савва успел крикнуть в закрывающиеся двери:

— Позвоню через час, не отключай телефон, или приеду нахрен!

Илья, сложив руки в приветственном жесте, потряс ими над головой.

Савва достал мятую пачку «Винстон», обсыпав себя крошками табака.

Утро пахло кровью, — запишет художник следующим вечером. Похмелье разрывало голову, путаница из реального и приснившегося впивалась в сердце и мозг острыми иглами страха, безысходности, стыда...

Метания, — написал Илья. Да, были метания, он помнит, тело помнит синяками, ноющими на боках и коленях, синяками... Порезами.

На ладони левой руки две глубокие, воспаленные, покрытые коростой раны. Полосами. На ноже — засохшие кляксы крови, на полу... Кровь на картинах.

Он метался по комнате — загнанный, пойманный, обезумевший, а отыскав нож, резал ладонь и кормил кровью жадные рты картин-комнат.

Да, он помнит, как вгрызлась в ладонь пьяная от похоти и жажды Галя-Губа, как высасывала вместе с кровью его легкие и печень...

Невидимка из 32-й комнаты, он поселился на четвертом листе ДВП. Это журналист, вернее, бывший журналист, после смелой статьи теперь прячется от бандитов. На картине его нет, он достиг состояния полного нуля, и теперь он — пустое место. Ему не нужна была моя кровь, ему нужно было тело. Это он пытался содрать с меня кожу, даже не содрать, забраться под нее. Хотел стать мной?

Его помощник мерзкий голубь вонзал клюв, целясь мне в глаза.

— Лучше выключи мою печень! — кричал я, распятый подобно Прометею на полу комнаты. Картины нависли надо мной с ожившими жильцами — пленники комнат, они не ведают, что творят, — это все дух комнат. Душа единого зверя зверей. Минотавра.

Кладони по очереди приложились все, даже соседка-старушка, божий одуванчик,

баба Поля. Конечно, это не она, это все комната — зло, с которым она борется силой молитвы и верой...

Покончивший самоубийством висельник накинул мне на шею ремень и, в точности как на картине, что еще не дописал, вздернул меня на двери, как тряпичную куклу. Я просунул руки под обжигающую ленту ремня и последнее, что увидел, как Виталий-Космос нагнулся ко мне с молотком в руках и гвоздями.

— Ты, главное, когда ноги буду прибивать, вниз не смотри, — прошипел он, — а то мало ли что...

Художник написал: *«Они разбили меня. Я не целое. И больше не буду целым никогда»*.
Начало осени.

«Поминки по Маргарину» переименовал, назвал «Сын Шелкунчика». Название — основа. Отправная часть в путешествии по произведению. Точка отсчета. Как корабль назови...

Никогда не признавал работы без названия. Неполноценность, незавершенность, безликость. Имя делает тебя одушевленным, существующим, конкретным...

Все, что имеет имя, нельзя просто взять и безнаказанно уничтожить. За убийство имени придется расплачиваться.

Поэтому я никогда не давал имена и клички рыбкам, хомякам, попугаям...

У случайных партнерш не спрашивал, как их звать, называл синичкой, волшебницей, радостью...

Скоро зима.

Дописал «Историю с табуретом» — говорящее название, не правда ли?.. Оно все рассказало и без меня. На картине, конечно же, главный герой — табурет. Табурет Достоевского. Да, можно добавить — история с табуретом Достоевского. Надо подумать... Баба Поля с топором здесь уже на добавку...

Это она шепнула мне: «Ты болен...» — и топор опустился аккуратно на мой затылок.

— Болен, болен! — подхватили картинные обитатели комнат.

— Отдай мне свою кожу, тело отдай! — визжала пустота комнаты 32.

— Нам нужна кровь. Много, много крови, — мать и сын с разрезанными ртами.

— Ты будешь моим новым экспериментом — мы попробуем тебя распять и посмотрим, что получится. Воскреснешь?.. Знаешь, сколько гвоздей нужно для распятия? — квартирант из комнаты 27.

За Гришу просило чудовище, оно хотело, чтобы я отдал свое лицо. А Гриша хотел лишь немного выпить:

— Из человечины получается неплохая брага...

В зеркало не смотрю. С Саввой не вижу второй месяц. Он приезжал на той неделе, стучал, обещал, если не открою, выбьет дверь. Пообещал клятвенно, что позвоню и скажу, когда встреча.

Встреча сегодня, а я боюсь, что ветер разорвет меня, как та училка мой первый рисунок, в клочья, меня, и без того растерзанного на куски... Меня — оболочку.

Бежать. Надо бежать отсюда!

Побег. Моя новая работа будет называться «Побег».

Останется совсем ничего — две с половиной комнаты. И я свободен. Эксперимент закончится выставкой и моей победой. Пишу, а сам не верю в победу. Со мной это впервые. Я всегда знаю, что первый. Или лучший — или никак. Второе не для меня...

Я боюсь — напишу это сейчас, но потом зачеркну. Я не должен бояться. Страх питает тьму. Их...

Я говорил, что мне больше не снятся кошмары? Они теперь реальность. Сны общаги. Сны комнат. Сны минотавров. Почему минотавр вдруг во множественном числе? Потому что их много!..

Врач, хороший знакомый Ольги Игоревны, пообещал, что все будет лишь между ними, в строжайшей тайне, если Илья пообещает, что ляжет на обследование до конца года.

Илья пообещал, скрестив на всякий случай пальцы на правой руке и на левой, он с детства не знает, на какой руке правильной...

Пока он будет принимать кучу таблеток и сдавать кровь на анализ два раза в неделю.

— Сифилис? — Савва перебирал названия болезней, запивая каждое темным пивом из горла бутылки.

— СПИД?!

Илья мотал головой:

— Нервное истощение, еще раз говорю.

Мать бы начала с других болезней, яркой картиной — истеричные выкрики за кухонным столом в их квартире:

— Рак! Это рак, я всегда знала, — хватаясь за таблетки. — Опухоль мозга!

А Савва предполагает:

— Триппер, хламидиоз, простатит...

— Побег — это не просто побег из зоны заключенного там по справедливости убийцы. Это побег от жизни. Метафизический. От наказания не сбежишь ведь, правда?..

— Правда — то, что ты дохлый, как моя смерть! Тебя они там правда едят, что ли?.. Сжирают прямо.

— Я же когда работаю...

— Да, да, не ем, не сплю, не сру... У тебя щеки впали, глаза одни вон... Ребра скоро вылезут наружу, продырявят любимый свитер...

Художник повторил:

— Еще две картины. Сейчас с «Побегом» разберусь, я две комнаты пишу сразу, еще «Нового Адама» творю... Твоя любимая тема, кстати, любовь и измена, — сменил тему Илья.

Савва попался на удочку.

— С чего это моя любимая тема? — отставил пиво.

Сидели все в том же павильоне, что и полгода назад, только пиво пили темное, Савва все так же мучил очередную пачку сигарет.

— Ты же у нас веришь в любовь? А значит, и можешь, как вариант, предположить измену...

— Я для измен не создан, не так заточен, ты же знаешь. Я в этом плане как три рубля.

— Лох для измены, — улыбнулся друг. — Это вот и есть новый Адам. Не обижайся.

— Так ты прав, тебе ли не знать, что не для меня вся эта киношная любовь со всякими страстями-мордастями. В жизни все же не так ярко и пышно. Может, у вас, у богемы, все так, но у большинства, у простых таких вот токарей, сантехников... Моя любовь тихая, домашняя... Без страсти, рока, измен тем более...

— Я расскажу свою историю об измене, — хихикнул и потер довольно ладони. — Веселая история получится с комнатой 26.

— Ты вообще думаешь об Алисе? — Вопрос Саввы завис в перегарном воздухе пивного павильона. Илья разглядывал дыру в пластмассовом столике. На младенца в утробе похожа была дыра, Илья заговорил:

— Я не заставлял ее идти на аборт. Это было ее, и только ее решение. Я думаю, роди она, ребенок мог бы много что исправить. Изменить.

Савва облегченно выдохнул:

— Я так и знал, знал, что ты хотел ребенка.

Илья ничего не сказал в ответ, продолжая разглядывать дыру.

Его короткие, часовые бегства от комнаты, от картин всегда заканчивались кровью.

Кормежка, — отмечал каждый раз после дезертирства в блокноте художник, — *очередная кормежка в наказание.*

— Если придется, буду кормить силой, — угрожал друг, складывая в пакет колбасную нарезку, кусок ветчины, сыр, два хлебных батона, консервы и супы быстрого приготовления. Илья не сопротивлялся — может, он научит своих жильцов питаться не человеками, а человеческой едой?..

— Да, и обязательно передай мои слова своим там обитателям, квартирантам, что если ты еще хоть на грамм похудеешь, я порву их, как Тузик грелку. Или волос хоть один поседеет... Это же не дело, бля, — половина башки седая!..

Мы твоя болезнь! — вопили с картин жильцы комнат. — Врачи ничего не найдут! Тысяча диагнозов и предположений, и ни одного верного! Тысяча таблеток и литры крови...

Затыкать уши берушами, надевать наушники с громкой музыкой — дохлый номер. Они кричали в голове.

От любовников после каждого свидания оставалось много интимных сувениров, следов...

Оживить нового Адама, подобрав использованный презерватив, было проще простого. Теперь он пялился на меня с удивлением и непониманием, точно такое же выражение лица будет у него, когда он найдет третий ключ, и измена, а любовники всегда кому-то, пусть даже самим себе, изменяют, перейдет на новый уровень, станет отрезвляющей. Погибелью. Он изменял жене. Жена ответила той же монетой. И от этого он уже не сбежит. Придется с этим жить, хоть как-то жить...

Все мы беглецы от жизни. Легче придумывать жизнь, выдумывать счастье, строить позитив, изображать радость, доброжелательность... Убегать от себя настоящего, от истинной личности жизни.

Брага на человечине. Гриха прав. Вот определение жизни человеческой — брага!

И хоть заубегайся. Это бег по кругу. Все циклично. И комнаты знают, что будут новые жильцы всегда. Одни уходят, приходят другие. Кормежка не должна прекращаться...

Время считать (Отдай свое сердце)

Зима нового года.

Опять клятва. Поклялся мамой, что, как только допишу последнюю картину, лягу в больницу к доктору, хорошему знакомому Ольги Игоревны.

— Клянусь мамой, — так и сказал седому крепко сложенному мужчине в кабинете с табличкой «заведующий отделением». Врач ответил:

— На этот раз я вам верю, Илья. Мама — это серьезно. Это святое...

Я не стал складывать пальцы крестиком, я болен, и с каждым штрихом последней комнаты, моей комнаты, я растворяюсь все заметней...

Это не слабость из-за переутомления, не нервное истощение и не авитаминоз... Они поглощают мой кислород. Дышат моим воздухом, моим дыханием. Дышат мной.

— Ты что, себя рисуешь, получается?! — спрашивал сотик голосом друга. Я отвечал:

— Ну, а кто в тридцатой комнате живет? Последняя картина. Автопортрет в интерьере.

Шутить не было ни сил, ни желания.

Они украли мой смех?

Свыкся с болью внутри черепной коробки, привык к кровавым сгусткам после продолжительного кашля, к резкой смене температур: может морозить до ноющих зубов, как вдруг начинаю истекать потом...

Повернул готовые работы к стенам, пусть любят...

Осталась комната номер 30.

Главное, не потерять нить Ариадны, не заплутать, не сгинуть... Минотавры выбрались из кошмаров и притворяются живыми в мире человеческой браги. Притворяются нами. Мной?..

Странное дело, становлюсь забывчивым. Не помню снов. Ни капельки не помню...

Звонила Алиса (или это мне приснилось?), долго молча слушали друг друга. Я сказал первым (всегда должен быть первым, о да!):

— Привет.

Она плакала, голос тонко дрожал:

— Виделась с твоей мамой, сказала, что виновата. Что ты никакой не, ну ты понял...

Думаю, что понял.

Она говорила:

— Если бы можно было все переписать заново, я бы переписала не задумываясь. Мы можем попробовать снова, еще раз... Пообещала твоей маме, что скажу это тебе. Она просила передать, что видит плохие сны с тобой. Чтобы ты берег себя и не сотворил ничего. Она сильно переживает за тебя. Таблетки горстями глотает.

— Постараюсь, — все, что смог сказать, — постараюсь.

— Может быть, постараемся и мы?.. Постараемся снова быть вместе?..

Слезы, женские в особенности слезы, творят чудеса. Алиса в голос заплакала после вопроса, а я не смог сказать ничего, кроме:

— Мы постараемся.

Я никогда не научусь отказывать и говорить «нет».

Она больше не плакала, «позвоню» сказала, сказала «спасибо», отключилась. Поэтому, когда тут же раздался новый звонок, я даже не посмотрел на номер, уверенный, что это Алиса. Номер скрыт, это я проверил потом, а тяжелое дыхание в микрофон наполняло тревогой, страхом перед неизвестностью, безумием.

— Это ты! — говорю, стараясь сохранить твердость в голосе. — Ты, я знаю! Выбрался! Теперь идешь за мной?! Что ж, я готов, давай!

Сначала исчезли все звуки, исчез шум в ушах. Минута безмолвия — пугающего, разрывающего, и наконец я услышал ответ. Рев разъяренного животного, рев Минотавра оглушил, я убрал телефон от уха.

Звериный клич подхватили мои квартиранты.

В какой-то альтернативной реальности я позвонил Савве, кричал, что чудовище из лабиринта, из картин выбралось и придет со дня на день за мной. Друг примчался тут же, мы собрали мои вещи и убралась подальше от комнаты 30, от картин, минотавров...

Все в той же псевдореальности мы сошлись с Алисой и через месяц расписались, Алиса забеременела, моя мать была, по ее выражению, на седьмом небе от счастья и забыла про таблетки.

Савва был свидетелем на свадьбе, с неизменной скомканной сигаретной пачкой.

Ольга Игоревна выставила восемь работ, их забрали из 30-й комнаты сотрудники Художественного центра. Выставка «Бесконечные комнаты» стала новой сенсацией, так, по крайней мере, напишут в газете...

Не секрет, мы живем в нескольких реальностях. Многих. Сложно порой определить, какая из реальностей реальна...

Жизнь тоже всего лишь продолжение сна.

Минотавр звонил с наступлением темноты еще шесть раз и страшно дышал. Потом неживой голос из небытия начал считать:

— Раз. Гроб на колесиках выехал из могилы и едет к воротам кладбища. Он ищет твою улицу.

Обрывалось соединение гудками. Не менее зловещими. Сигналами SOS.

Первое желание — свалить из комнаты и забыть про все, что тут происходило, начать писать заново, только не эти бездушные, бездомные комнаты...

Победила мысль — я доведу начатое до конца.

До смерти?..

Если это проверка на прочность — я не спасую. Пусть будет сражение. Минотавры всегда проигрывают. Ариадны, принимая всевозможные облики, спасают своих Тесеев вот уже тысячи тысяч лет...

Минотавр должен умереть, и в этот раз от моей руки. От моих кистей и красок! Это мое оружие!

00:01

— Три. Гроб на колесиках нашел твою улицу. Он едет по дороге, ищет твой дом.

Я сказал:

— Да, да, это мы уже проходили.

Страшилка из детства была не страшней истории про черную руку, но более цветастой, что ли, яркой... Лакированный гроб на колесиках выбирался из могилы и, сияя бездонной чернотой безысходности, мчался через весь город к непослушной девочке. Находили потом девочку бездыханной с колесиком во рту.

— Откуда колесико?.. — спрашивал кто-нибудь по обыкновению, и тогда следовало напугать невнимательного маленького слушателя, прокричав что-то наподобие:

— Гроб на колесиках нашел тебя!

Но мне всегда больше нравился, был ближе своей вычурностью и кровожадностью выкрик:

— Отдай свое сердце!

— Тебе нужно мое сердце! — закричал на четвертую ночь, после того как неживой монотонный голос объявил, что гроб на колесиках нашел-таки мою улицу и ищет дом.

— Не дом, а общагу, тупое животное, скотина, — продолжал я орать в телефон. — Все знают, если помешать мне работать, можно конкретно огрести по полной! Понял, мразь? Можно пострадать!

Гудки смеялись надо мной. Невидимые квартиранты смеялись. Смеялась девятая картина без названия. Все, что я сделал, — закрасил весь лист ДВП черной сажей. Задумывал, что сверху белой краской напишу впервые автопортрет. И я писал с выключенным светом, после полуночи в крошечной темноте, в лабиринте ожидания развязки...

Лабиринты внутри нас. Выбираются немногие... Одни блуждают мрачными коридорами до конца жизни в поисках выхода... Другие, смирившись, обживают в укромном уголке лабиринта. Третьих сжирает Минотавр. Лишь единицы находят нить спасения, выбирают к свету...

— Семь. Гроб на колесиках нашел твою квартиру и едет по лестнице.

— Нашел комнату, — поправил я Минотавра. — Здесь у нас комнаты...

Сходил до дальнего магазина, купил бутылку водки, закуски... Через два дня, на третью ночь, по моим подсчетам, Минотавр должен найти меня в моей комнате перед картиной с кистью в руках...

— Встречу тебя как полагается. Хлебом и солью... Водкой и перцем, взял острое лечо. Наверное, правильной будет зажечь свечи, чтобы randevу не проходило в полной темноте, купил две восковые свечи.

По дороге назад встретил Михаила из 28-й. Кивнули молча друг другу, разошлись.

Стоп. Ты же повесился, — обернулся я, спина живого висельника казалась живой и реальной. В забеленном зимнем пейзаже.

— Миша, — окликнул я, — ты... на автобус?

Миша кивнул.

— На балет, — сказал. — «Щелкунчик», с детства мечтал...

И он пошел дальше. По растоптанному в слякоть снегу...

А я пошел назад, побежал, в точности, как журналист Ник, побежал назад, в ноль.

Время. В лабиринте времени легко потеряться, забыться... Прошлое запросто становится твоим настоящим, и будущее может стать прошлым... Мертвые оживают или еще не умерли... Живые смотрят из гробов и не хотят из них выбираться... Время может остановиться, тогда вечная остановка и вечная жизнь, бессмертие нам обеспечено...

Позвонил матери, стараясь не вслушиваться в гудки, за гудками скрывалась темнота. Мать без приветствия сразу же рассказала сон:

— Ты отрезал себе уши и пришил их к своей картине, вытащил глаза и тоже туда, на картину, тут я и проснулась вся в слезах, ну и расстроилась вся. Пришлось таблетку выпить... На воду сон рассказала, потом отпустило...

— Дурацкий сон, — сказал, но подумал другое: сон казался пророческим...

— Ты береги там себя, не заставляй меня нервничать, и так, знаешь, нервы ни к черту... Все отец твой напортил своей пьянкой. Пообещай, что будешь осторожным и не злоупотреблять!..

Илья пообещал. Снова пообещал.

Савва испугался звонка.

— Что случилось?! Я сам сейчас хотел звонить, — в голосе нескрытое волнение. — Ты мне сегодня приснился, весь в крови такой, и пахло, как у вас в общежитии...

— Это растворителем пахнет, ацетоном, лаками всякими.

— Но кровь...

— Скорей, это краска была.

— Это уже лучше, потому что потом я увидел, как из шкафа твоего, что напротив двери, вылезает что-то непонятное, знаешь, черт такой с рогами, весь в шерсти, с глазами зелеными, и язык, как у змеи...

— И ты его хлопнул, конечно же?

— Проснулся я, слава тебе...

Савва не договаривал, во сне черт из шкафа вырывал сердце у художника: — Отдай свое сердце!

— Я аж закурил, сука, а ведь почти год уже...

— Зря, — сказал Илья.

— Что зря? Что закурил? Конечно, такое не каждую ночь снится...

— Что не досмотрел сон до конца, зря. А я вчера повешенного соседа видел. — Решительность и уверенность в голосе, как и в том, что видел. — Даже поговорил с ним. Он на балет ехал...

Друг в трех километрах от комнаты 30 спросил:

— Во сне видел, что ли?..

Илья не знал.

Друг повторил, пришлось отвечать:

— Толком не скажу. Не совсем во сне.

— Это как, не совсем?..

Художник посмотрел на закрытую клеенкой в фиалковый цветочек девятую картину:

— Скоро узнаю.

Скоро наступило не скоро.

К полуночи накрыл стол-тумбу на двоих, зажег свечи, последний раз он подобное делал в другой жизни, в первую ночь с Алисой. Вместо водки было полусладкое вино, и в вазе, где сейчас лечо, оттаивали, покрываясь каплями влаги, крупные виноградины из морозилки.

Ровно в ноль часов ноль минут сотовый вспыхнул зловещим, радиационным сиянием:

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Илья обернулся. За спиной была клеенка в цветочек, за ней недописанная картина, дальше стена...

Минотавра не было.

— Десять, — налил водку и выпил Илья. Налил во вторую рюмку и выпил.

Так он сидел всю ночь, попивая водку за себя и не пришедшего гостя в молчаливом ожидании. И уснул с первыми лучами рассвета, упав на матрац, без сновидений.

Он не пришел.

Минотавр сдался?..

К следующей полуночи снова купил водку, выложил остатки лечо.

В этот раз, возвращаясь из магазина, с уверенностью высматривал Мишу-самоубийцу. Висельник не появился. В полночь сотик ожил:

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Обернулся. Никого. Все те же фиалковые цветочки.

— Где ты?! — закричал и остаток ночи прикладывался к бутылке прямо из горла. Не закусывая. В ожидании своего Минотавра...

Наутро голова раскалывалась от колокольного звона и рвало кровью. К вечеру отпустило, сходил за бутылкой и новой банкой лечо...

Стоит ли говорить, что и в эту полночь все повторилось.

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

И в следующую полночь.

Посчитал полночи бутылками — девять бутылок. По ходу, девять — роковое для меня число.

Сейчас, в ожидании десятой полуночи пришел к осознанию.

Возвращаясь сегодня в девятый раз, встретил живого мертвеца. Спросил его:

— На балет собрался?

Миша, как живой, покраснел, что удивительно, покрутил у виска пальцем.

— На «Щелкунчика» же, балет?.. — заикался и чувствовал, как от меня во все стороны шарашут токи перегарной вони.

— Протрезвей.

Не обращая внимания, продолжил настаивать:

— С детства ты мечтал сходить на балет и тайно ходишь, давай уже признайся хотя бы самому себе!

— На вахту я, — процедил сквозь зубы покойник и заехал мне кулаком промеж глаз.

В общаге сразу прошел к мойке, смыл кровь, она пошла носом — и вновь издевка времени, или это я пошел по уже пройденной дорожке лабиринта, запетлял?..

Сын Гали-Губы с еще не изрезанной губой набирал воду в пластиковую чашку.

— Сегодня важный вечер, — подмигнул ему.

Он не ответил. А я знал, что через час он будет стоять перед зеркалом с лезвием в руках... Через час он будет похож на маму...

Весь вечер даже с закрытой форточкой слышал кукование.

Кукушка начала свой отсчет.

А в той же альтернативной жизни я отрезал уши и приклеил их на суперклей к себе, написанному маслом.

Остались глаза. Мамин сон в параллельном измерении стал реальностью. Автопортрет с частями моего тела завизжал, кровавая полоса губ расплзлась чернотой:

— Отдай свое сердце!

Я сказал:

— Это будет сложно, — и на помощь пришел Самоделкин из 27-й комнаты.

Виталий-Космос всегда был мастер на эксперименты, у него для такого случая имелись инструменты собственного изготовления из кухонных ножей, лезвий бритвы и лески.

— Сердцевырезатель, — хвастался чудовищным прибором. — В три нажатия удаляет сердце без лишних движений. На раз — вскрываем грудную клетку, на два — вырезаем моторчик, на три — все готово, можно зашивать.

— А кто будет зашивать? — пытался оттянуть смертельную процедуру, казнь.

— Имеется и такая штукавина, — расплылся в улыбке Космос. — Сшиватель Храмова...

Автопортрет с ушами противно застонал, заскулил в предвкушении кровавой кормежки...

— На раз, — подмигнул Космос.

И я услышал свой голос:

— Раз, — произнес не своими губами.

Холодное лето, теплая зима. В комнате жарко, душно, испарение от масла дурманит.

Все. Картины, матрац, стол-тумба, шкаф, я... Все плавает в вязкой субстанции, маслянистой, дурно пахнувшей... Бульон? Брага?..

Водка — спасение от реальности бульона/браги. Налил очередную рюмку. Цифры на сотике поменялись на 00:00.

Выпил. Телефон требовал ответа.

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Услышал в очередной (тысячный?) раз, и сотовый отправился напрямик в стену.

— Десять! — закричал. — Десять!

Повернулся.

Считается, что в последние мгновенья перед смертью, за миг, перед глазами пролетает вся прошедшая жизнь. Так и передо мной перелистывалось все давно забытое, прошедшее, сладостное и ужасное...

Клеенка с незаконченной девятой картины сползла (или я сдернул?), и вместо автопортрета на меня взглянул Он, тот, кого так жду. Ждал.

Рогатый монстр оскалился. Краски (или это не краски?) ожили, задвигались живой, дышащей плотью...

Я заметил у него свои глаза, правда, с дьявольски-зеленым, почти перламутровым отливом. Свои торчащие уши.

И мой рот, без сомнения, с моими губами, открылся:

— Попался, — сказал я, — попался!..

Параллели сошлись в параллельном мире.

Меня нашли с развороченной грудью, о, как она кроваво чернела клумбой чайных роз посреди бесшабашности размазанных по линолеуму красок. Сердце, по словам полицейских, стучало, придланное к картинному полотну. «На картине изображено масляными красками человекоподобное существо с фрагментами человеческих органов», — будет записано в протоколе осмотра места преступления.

Боги бессмертны. Художник вечен в своих творениях. Надо подождать, когда он созреет, наберется сил, смелости, чувств... и выберется из мира, лабиринта своих

картин в реальность жизни. Из рамок, застывших (застывших ли?) полотен в мир дышащих...

Я выбрался.

Время новостей

Из криминальной хроники еженедельника «Вечерняя среда» и программы «Местное время» телекомпании «АТВ»:

...Взрывов было больше тридцати! — утверждают очевидцы пожара в поселке на окраине.

...Также на территории общежития были замечены посторонние личности, ночами в окнах нежилого здания, по словам жильцов соседних домов, был виден зажженный свет, и в комнатах перемещались тени людей...

...Известный в городе экстрасенс:

— *В общежитии обитали души неупокоенных, и с пожаром они наконец обрели покой.*

...Городская администрация пожар никак не прокомментировала.

Исполняющий обязанности директора жилищного коммунального управления «Трест», в ведении которого было общежитие, заявил, что могло иметь место незаконное заселение.

...Возгорание произошло на первом этаже общежития, где в закрытых комнатах и коридорах долгое время хранились летучие и легко воспламеняющиеся жидкости: краски, лаки, растворители. Принадлежавшие, по предварительным данным, закрытому керамическому заводу. По факту халатного и незаконного хранения горючих веществ, умышленного причинения вреда государственному учреждению возбуждены уголовные дела.

Из неофициального источника нам стало известно, что на втором этаже закрытого из-за аварийного состояния общежития находилась мастерская художника-самоучки Ильи Дубина, известного своими провокационными и скандальными выставками. Местонахождение художника пока неизвестно, как и судьба новых картин, которые планировалось выставить в Художественном центре искусств осенью 2017 года.

Напомним, что во время пожара предположительно в здании общежития никого не было. Ведутся поисковые работы.

Человеческих жертв при пожаре в общежитии нет — таковы последние данные пресс-службы МЧС города.

Найдены чудом уцелевшие работы художника. Представители СМИ смогут увидеть спасенные полотна.

«Бессмертные комнаты» — таково предполагаемое название цикла из восьми картин, — рассказала директор Художественного центра Ольга Ивашко, — будут выставлены сразу после устранения незначительных повреждений.

— *Это будет убийственно,* — добавила она. И с ней нельзя не согласиться. Достаточно лишь взглянуть на одну из работ (смотрите фото 1), чтобы понять это.

Картина без названия, но всей редакцией единогласно окрестили работу «Ангарский Минотавр».

И да, кто не спрятался, он не виноват.

ВХОД. ОН ЖЕ ВЫХОД